

Жизнь. Ги де Мопассан

дань уважения преданного друга и в память о друге умершем.

Ги де Мопассан. «Скромная истина»

Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну; дождь не переставал.

Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы; дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков.

Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала; она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пылливо осматривала горизонт.

Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотой цифрой текущего 1819 года в виньете. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая – дня своего выхода из монастыря.

Голос за дверью позвал:

– Жанетта!

Жанна ответила:

– Войди, папа.

И в комнату вошел ее отец.

Барон Симон Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жана Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным.

Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год; но, философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.

Его великой силой и великой слабостью была доброта, такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, – доброта творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку.

Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной.

До двенадцати лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр.

Там отец держал ее в строгом заключении, взаперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему семнадцатилетней целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни.

Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи.

Она походила на портрет Веронезе своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какою отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок.

Около левой ноздри у нее была маленькая родинка; другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

– Ну что же, едем? – спросила она.

Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку:

– Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?

Но она молила его ласково и нежно:

– Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется.

– Но мама ни за что не согласится.

– Согласится, обещаю; я беру это на себя.

– Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю.

И она стремглав бросилась к отъезду баронессы. Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением.

С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их поместье «Тополя», в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж.

Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни.

Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом:

– Папа, папа! Мама согласна; вели запрягать.

Ливень не прекращался; он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу.

Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой – рослою горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко; на вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только что минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась.

Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила:

– Право же, это неразумно.

Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил:

– Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида.

Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения.

Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив.

Вслед за ворохом накидок – отъезжающие прикрыли ими себе колени – кухарка Людивина принесла две корзины и поставила их в ноги; затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке; после этого тронулись в путь.

Кучер, дядя Симон, понутив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды.

Карета, запряженная парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья, в изливавшееся ручьями небо; затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде.

Вскоре дорога пошла лугами; время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью тупа. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи.

Все молчали; самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Розали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолудинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух; полнота радости, подобно листе, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться; она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопы.

Под яростным дождем от блестящих круп лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды.

Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полукрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее; она взглянула на бумажник затуманенным взором, с отупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота.

Барон подобрал деньги и положил их жене на колени:

– Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить «Тополя», где мы теперь будем жить подолгу.

Она сосчитала деньги – шесть тысяч четыреста франков – и спокойно положила их в карман.

Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленной им родителями. Однако они еще обладали приблизительно двадцатью тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч.

Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой: их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил:

– Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки.

Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга.

Жанна спросила:

– А красив теперь мой замок?

Барон весело ответил:

– Увидишь, дочурка.

Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана – тончайшая сеющаяся дождевая пыль. Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга.

Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей.

Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли; когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья.

Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоянных дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить.

Солнце село; вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками; и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости.

Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и пресытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрерывный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело.

Наконец остановились. У дверец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным, умирающим голосом:

– Ах, боже мой! Ах, дети мои!

Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем.

Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома.

Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя.

Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь; высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста.

В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена; Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены Лисица и Журавль.

Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения; налево

от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна.

Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления.

Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами.

Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам четыре большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов; четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров.

Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени.

Одеяло и полог кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому, точно звезды, были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом.

Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков.

Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву.

Прямо над этими фигурами, в условной перспективе, виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе, – красная ветряная мельница.

Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы.

Два других панно были очень похожи на первое; только на них из домиков выходили четыре человека, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева.

Последнее же панно изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными.

Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку. А между тем это был лев.

Тогда она узнала злключения Пирама и Тисбы, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа.

Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле амбир.

То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками.

С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и ушел к себе.

Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.

В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей.

Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы.

В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их.

Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей наконец заснуть; но волнение, которым был объят ее ум, передалось вскоре и ее телу.

У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и, босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу.

Ночь была так светла, что все было видно, как днем, девушка узнавала места, которые она любила еще в раннем детстве.

Против нее и всего ближе к ней расстился широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Два гигантских

деревя возвышались перед замком по обеим сторонам его – платан на севере, липа на юге.

Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой – Мартены.

От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилалась обширная невозделанная равнина, поросшая диким терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался кручей в сто метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах.

Жанна смотрела вдаль, на безбрежную, волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами.

В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей.

Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна.

Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени; жужжание невидимых насекомых едва касалось уха; по росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони.

Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон.

Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией; и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Уже два года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшею тоскою. Теперь она может любить; теперь ей остается только встретить Его!

Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет Он – вот и все.

Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникать в самые сокровенные мысли друг друга.

И это будет длиться бесконечно в безмятежности невыразимой любви.

Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя; смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту; на губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви.

Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта.

Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию.

И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаньям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни.

Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке, над морем. У нее, конечно, будет двое детей – сын для него, а дочь для нее. И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти.

И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. Пропел петух на ферме справа; другие откликнулись с фермы слева. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека сквозь стенки курятника; на громадном своде небес, незаметно побелевшем, стали исчезать звезды.

Где-то раздался птичий крик. В листве послышалось щелканье, сначала робкое; затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Вдруг Жанна почувствовала себя залитою светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари.

Гора пурпуровых облаков, частью зaslоненная старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю.

И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар.

Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Восход ее надежд! Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце; ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно-прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала.

Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов ее позвал отец, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Он хотел показать ей отделку замка – ее замка.

Фасад, выходящий внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан.

От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм.

Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись, как пятна на старинном потемневшем здании.

Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром.

Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка; затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зеленым ковром. Рошица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку, прыгнул с откоса и удрал в морские тростники, к скалистому обрыву.

После завтрака, ввиду того что г-жа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора.

Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к «Тополям». Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно.

Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины.

Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи.

Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание.

Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация.

Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль насколько мог видеть глаз.

Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые, как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих.

В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики; мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке.

Лодки местных жителей, вытасенные на откос, усеянный галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестящие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу.

Подожел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в «Тополя».

Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти:

– Лястик, Жозефен Лястик.

Барон обещал не забыть его.

Пошли обратно в замок.

Огромная рыба утомляла Жанну, она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки; болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, с сияющими глазами, обвеваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.

Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погружившись в мечты, или же вприпрыжку сбежала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты, словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли.

Порою, от ощущения какой-то слабости, она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сживалась на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног.

Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без усталости, как рыбы в воде или ласточки в воздухе.

И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца.

Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной прозрачной и голубой воде, которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, да смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.

Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья.

Барон же задумывал большие земледельческие предприятия: он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота; он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам.

Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак.

В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться.

При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и, после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольни или маяку Фекана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкая спина широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса.

Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а мамочка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходящей к ферме Кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца.

Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком.

И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге – один туда, другой обратно – в виде двух пыльных борозд с вытопанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые пять минут, говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее:

– Присядем-ка, милая, я немного устала.

И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ; из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку.

После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками; иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома.

Она называла это: «мои упражнения», так же, как говорила: «моя гипертрофия».

Один доктор, к которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщей ее груди; но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней; она говорила

о «своей» гипертрофии при каждом случае и так часто, словно это негуд свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права.

Барон говорил: «гипертрофия моей жены», а Жанна: «мамина гипертрофия», как сказали бы: «платье», «шляпа» или «зонтик».

В молодости она была очень хорошенькая и тонкая как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров Империи, она прочла «Коринну», которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток.

По мере того как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы; она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны.

Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты; пребывание в «Тополях» ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов: леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев.

В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие.

Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией:

– Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний.

Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим читать эти письма, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний; ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой; тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам.

Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним.

Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул:

– Ну, баронесса, как мы поживаем?

Это был местный кюре.

Мамочка родилась в век философов и была воспитана в дни Революции отцом, равнодушно относившимся к вере, она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам.

Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомства первая. Но старик не казался обиженным: он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее; но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль.

То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу: причиной этого была лень, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур пресытили благочестивыми обрядами.

Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.

Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными.

Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры: ей, тучной и прерывисто дышащей, нравились красное лицо и одышка толстяка.

Во время десерта он одушевился, как и полагалось подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов.

И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей:

– А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить, – виконт де Лямар!

Баронесса, зная как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила:

– Он не из семьи де Лямар де л'Эр?

Священник поклонился:

– Да, сударыня; он сын виконта Жана де Лямара, умершего в прошлом году.

Г-жа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался на одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от пяти до шести тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два-три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм.

Кюре прибавил:

– Это очаровательный молодой человек; такой порядочный, такой тихий. Но не слишком-то ему весело в деревне.

– Так приводите его к нам, господин аббат, – сказал барон, – время от времени это сможет его развлечь.

И заговорили о другом.

Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне или поворачивались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя:

– Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение.

Затем вдруг, взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнес:

– Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть.

И вернулся попрощаться с дамами.

Из деликатной почтительности к своему кюре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье.

Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул:

– Как это кстати! Прошу у вас позволения, баронесса и мадемуазель Жанна, представить вам вашего соседа, виконта де Лямара.

Виконт поклонился, сказал, что он уже давно мечтает об этом знакомстве, и завязал разговор с легкостью бывалого и благовоспитанного человека. У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины, но которая противна любому мужчине. Черные вьющиеся волосы обрамляли гладкий смуглый лоб; большие, правильные, точно искусственно выведенные брови придавали глубину и нежность его темным глазам, белки которых казались слегка голубоватыми.

Благодаря густым и длинным ресницам его взгляд приобретал ту страстную выразительность, которая вызывает волнение в высокомерной салонной красавице и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несет корзину.

Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам.

Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть.

Обменявшись любезностями, они расстались.

Два дня спустя г-н де Лямар сделал первый визит.

Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в это утро под платаном, против окон зала. Барон хотел поставить еще другую напротив, под липой, но мамочка, враг симметрии, не желала этого. Виконт, мнение которого пожелали узнать, согласился с баронессой.

Затем он заговорил об этом крае и находил его очень «живописным», так как во время своих одиноких прогулок встречал много очаровательных «уголков». Время от времени его глаза, словно нечаянно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала странное ощущение от этого внезапного, быстрого взгляда, в котором светились ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия.

Г-н де Лямар-отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, мамочкиного отца; открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие линии других семей и прогуливаясь без малейшего затруднения по сложному лабиринту генеалогии.

– Скажите, виконт, вы не слышали о семье Сонуа де Варфлёр? Их старший сын, Гонтран, женился на мадемуазель де Курсиль, из рода Курсиль-Курвиль, а младший – на одной из моих кузин, мадемуазель де Ля Рош-Обер, доводившейся родственницей Кризанжам. Ну, так вот господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца.

– Да, сударыня. Ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился?

– Он самый. Он сделал предложение моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри; но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что случилось с Вилузаами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Оверни, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала.

– Насколько я помню, сударыня, старый маркиз умер от падения с лошади; одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким Бассолем, коммерсантом, – как говорили, богатым, который ее обольстил.

Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях, одинаково родовитых, принимали в умах собеседников значение крупных общественных событий. Они говорили о людях, которых никогда не видали, словно о хороших знакомых, а те люди, жившие в других краях, говорили о них так же; все они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, даже родственниками, благодаря только тому обстоятельству, что принадлежали к одному классу, к одной касте, к одной и той же благородной крови.

Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшее ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них виконта.

– О, в наших местах живет мало знати, – отвечал г-н де Лямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов водятся мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве: маркиз де Кутелье, нечто вроде главы нормандской аристократии; виконт де Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся особняком; наконец, граф де Фурвиль, какое-то пугало: по слухам, он доводил свою жену до отчаяния, слыл завзятым охотником; они жили в своем замке де ла Врильет, выстроенном на берегу пруда.

Несколько выскочек, пролезших в их общество, купили себе кое-где по соседству поместья. Но виконт не водил с ними знакомства.

Наконец он простился, и его последний взгляд был обращен к Жанне, словно он посылал ей особое, более сердечное и нежное прощание.

Баронесса нашла его очаровательным, а главное – вполне светским человеком. Папочка отвечал:

– Да, конечно, молодой человек прекрасно воспитан.

Его пригласили на следующей неделе к обеду. С тех пор он стал бывать постоянно.

Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в «ее аллее» и предлагал ей руку, чтобы помочь ей «совершать моцион». Когда Жанна бывала дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его глаза, казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с ее глазами, похожими на голубой агат.

Несколько раз молодые люди отправлялись в Ипор с бароном.

Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Лястик; не выпуская изо рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезновение его носа, он промолвил:

– По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехать в Этрета и обратно.

Жанна сложила руки:

– О, папа, согласись!

Барон обернулся к г-ну де Лямар:

– Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать.

И прогулка была тотчас же решена.

С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно; они отправились по росе и пересекли сначала поле, а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Лястик сидели на кабестане.

Два других моряка помогали им при отъезде. Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали ее изо всех сил. Она с трудом подвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой. Лястик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на свое место, протяжно выводил бесконечное: «Оге-гоп!» – для согласования общих усилий.

Но когда добрались до склона, лодка двинулась сразу и скользнула по круглым камням с треском разрываемого холста. Она остановилась вблизи пены, образуемой мелкими волнами; все заняли места на скамьях; затем два матроса, оставшиеся на берегу, спустили лодку на воду.

Легкий и непрестанный ветер с открытого моря касался поверхности воды и рябил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах.

Сначала удалились от берега. Небо, нисходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у своего подножия, а ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого мола Фекана виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием; она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. То были малые ворота Этрета.

Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода.

Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулем и шкотом, время от времени потягивал из бутылки, спрятанной под его скамьей, и без устали курил огрызок трубки, казавшейся неугасимой. Из нее постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табаком или разжигал эту свою глиняную печурку, которая была чернее черного дерева. Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны.

Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и виконт помещались рядом, оба немного смущенные. Неведомая сила заставляла встречаться их глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли; между ними уже возникала та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один о другом.

Солнце поднималось словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и, как бы кокетничая, подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей. Это был прозрачный, низко нависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растопляя ими это блестящее облако, и когда оно поднялось во всей силе, мгла рассеялась, исчезла, а море, гладкое, как зеркало, заблестало в сиянии дня.

Взволнованная Жанна прошептала:

– Как красиво!

Виконт ответил:

– О да, очень красиво!

Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах.

Вдруг показалась большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы

служить аркой для кораблей; верх белой остроконечной скалы возвышался перед нею.

Причалили; пока барон, сошедши первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног; затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель, еще взволнованные минутным объятием, и вдруг услышали, как дядя Лястик говорил барону:

– Вот была бы хорошая парочка.

Завтрак в маленькой гостинице, вблизи пляжа, был восхитителен. Океан, заглушая голоса и мысли, делал всех молчаливыми; но после завтрака они стали болтать, словно школьники на каникулах.

Самые простые вещи бесконечно веселили их.

Дядюшка Лястик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет еще дымившуюся трубку; все засмеялись. Муха, привлеченная, без сомнения, его красным носом, несколько раз усаживалась на него; когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородичей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что немного погодя садилась на него снова.

При каждом полете насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щекотание, проворчал: «Она таки чертовски упряма», – Жанна и виконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задыхаясь, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.

Когда кончили кофе, Жанна сказала:

– Хорошо бы пройтись.

Виконт встал, но барон предпочел понежиться под солнцем на камушках.

– Ступайте, дети; через час я буду здесь.

Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними.

Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие; резкий соленый воздух возбудил аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, и им хотелось, ни о чем не думая, бегать по полям. У Жанны шумело в ушах: она была возбуждена новыми нахлынувшими на нее ощущениями.

Палящее солнце изливало на них свои лучи. По обе стороны дороги клонились к земле спелые хлеба, поникшие от жары. Бесчисленные, как стебли трав, неумолчно заливались кузнечики, и повсюду – в хлебах, в овсе, в морских тростниках раздавался их сухой и оглушительный треск.

Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.

Заметив вдали, направо, лесок, они пошли к нему.

Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями вилась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха; почву прикрывал только мох.

Они пошли вперед.

– Здесь мы можем немного посидеть, – сказала она.

В этом месте стояли два старых сухих дерева, и, пользуясь просветом в листве, сюда падал поток света, согревая землю, пробуждая к жизни семена травы, одуванчиков и повилики, помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным, как пыльца, и наперстянке, похожей на пряжу. Бабочки, пчелы, приземистые шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, розоватые, с пятнышками, божьи коровки, бронзовые жучки с зелеными отливами или черные рогахи населяли этот светлый и жаркий колодец, вырытый в холодном сумраке густой листвы.

Они уселись; их головы были в тени, а ноги на солнце. Они смотрели на всю эту кишашую ничтожно-мелкую жизнь, вызванную на свет всего одним солнечным лучом; растроганная Жанна повторяла:

– Как чудесно! Как хорошо в деревне! Бывают минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы спрятаться в цветах.

Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах тем пониженным, задушевым тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету и устал от его пустой жизни; там всегда одно и то же; никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего.

Свет! Ей очень хотелось бы узнать, что это такое; но она была убеждена заранее, что он не стоит деревни.

Чем больше сближались их сердца, чем чаще они церемонно называли друг друга «мосье» и «мадемуазель», тем больше улыбались друг другу, сливались их взгляды; им казалось, что в них проникает какое-то новое чувство доброты, какая-то бьющая через край симпатия и интерес к тысяче мелочей, о которых они никогда не заботились.

Они вернулись; но барон отправился пешком до «Девичьей комнаты» – грота, находящегося на гребне скалы, и они стали ждать его в гостинице.

Он явился только к пяти часам вечера, после долгой прогулки по берегу моря.

Снова сели в лодку. Она неслышно отплывала по ветру, без малейшей качки, как будто вовсе не двигаясь. Ветер набегал тихими и теплыми дуновениями, которые на секунду надували парус, бессильно падавший затем вдоль мачты. Непроницаемая водная гладь казалась мертвой; солнце, истощив весь свой жар и завершая круг, тихо приближалось к морю.

Дремота моря снова заставила всех притихнуть.

Наконец Жанна сказала:

– Как бы хотелось мне путешествовать!

Виконт возразил:

– Да, но путешествовать одной грустно, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями.

Она задумалась.

– Это правда... однако я люблю гулять в одиночестве... так хорошо мечтать одной...

Он поглядел на нее долгим взглядом:

– Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Был ли это намек? Может быть. Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла:

– Я бы хотела поехать в Италию... и в Грецию... о да, в Грецию... и на Корсику!.. Это, должно быть, так дико и так прекрасно!

Он предпочитал Швейцарию – за ее горные хижины и озера.

Она говорила:

– Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция. Так приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события.

Виконт, менее восторженный, объявил:

– А меня сильно привлекает Англия: это чрезвычайно поучительная страна.

И тут они перебрали всю вселенную, обсуждая прелести каждой страны, от полюса до экватора, восхищаясь воображаемыми пейзажами и необычными нравами некоторых народов, вроде китайцев или лапландцев, но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен великого века Афин.

Затем они смолкли.

Солнце, спустившись ниже, казалось кровавым; широкий светлый след, ослепительная дорога бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра замерли, рябь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство, казалось, оцепенело в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий; выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно, море, как гигантская возлюбленная, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта повеяло свежестью; легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило посылало миру вздох успокоения.

Сумерки были коротки, быстро распростерлась ночь, усеянная звездами. Дядя Лястик взялся за весла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чем больше не думали, отдавшись рассеянному созерцанию, вдыхая тишину вечера в блаженном удовлетворении. Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев; она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать. Взглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется, как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни, что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размеренным тиканьем; и она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода

прятана ее старая кукла; она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашенные щечки и взбитые кудри.

И, не выпуская ее из рук, задумалась.

Неужели это он, супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов, ниспосланный на ее пути всеблагим провидением? Не то ли он существо, созданное для нее, которому она посвятит всю свою жизнь? Не те ли они избранники, нежность которых должна соединить их друг с другом, слить неразрывно и породить любовь?

Она вовсе еще не ощущала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех величайших подъемов, которые считала присущими страсти; но ей казалось все-таки, что она начинает любить его, потому что порою она вся замирала, думая о нем, – а думала она о нем постоянно. Его присутствие волновало ей сердце: она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос.

Она очень мало спала в эту ночь.

С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным вверх.

Однажды вечером отец сказал ей:

– Принарядись завтра получше.

Она спросила:

– Зачем, папа?

Он ответил:

– Секрет.

На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью, в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет.

Во двор въехала повозка. На ней была надпись: «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Людивина с помощью поваренка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шел приятный запах.

Явился виконт де Лямар. На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облежавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видала; она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног.

Он с улыбкой поклонился:

– Итак, кума, вы готовы?

Она пролепетала:

– В чем дело? Что случилось?

– Сейчас узнаешь, – сказал барон.

Подъехала запряженная коляска; г-жа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом г-на де Лямара, что папочка сказал вполголоса:

– Знаете, виконт, вы, кажется, пришли по вкусу нашей служанке.

Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, недоумевая все больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людивина, принеся баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала:

– Право, сударыня, подумаешь, что свадьба.

Доехав до Ипора, они пошли пешком, и, пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией.

Виконт предложил руку Жанне и шел с нею впереди.

Подойдя к церкви, все остановились; появился большой серебряный крест, который нес мальчик из хора, стараясь держать его прямо; за ним шел другой мальчик, в красной с белым одежде, держа в руках сосуд со святой водой и кропилом.

Затем вышли трое старых певчих, один из которых хромал, за ним музыкант с серпентом и, наконец, кюре в золотой, скрецающейся сверху епитрахили, вздувавшейся над его огромным животом. Он поздоровался улыбкой и кивком головы; затем, полузакрыв глаза,

молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парус и снасти были убраны длинными лентами, развевающимися по ветру, а на корме золотыми буквами было выведено название: «Жанна».

Дядя Лястик, хозяин лодки, построенной на средства барона, двинулся навстречу шествию. Все мужчины одновременно обнажили головы, а ряд богомолок в широких черных платках, ниспадавших на плечи крупными складками, опустил полукругом на колени при виде креста.

Кюре с двумя мальчиками по бокам прошел к одному концу лодки, а у другого конца трое старых певчих в белой одежде, но неопрятных и небритых, устремив глаза в сборник церковных песен, торжественно зафальшивили во всю глотку в ясном утреннем воздухе.

Каждый раз, когда они переводили дыхание, только тот, что играл на серпенте, продолжал свой рев, причем его серые глазки совсем исчезали между раздувавшихся щек. Он так надсаживался, что, казалось, кожа у него на шее и даже на лбу отставала от мяса.

Неподвижное, прозрачное море как будто тоже сосредоточенно участвовало в крещении лодки и лишь медленно катило мелкие волны с легким шумом грабель, скребущих по камням. Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывая кривую линию в голубом небе, удалялись и снова возвращались плавным полетом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит.

Но вот после «аминь», которое завывали в течение пяти минут, пение закончилось, и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов, где можно было различить лишь звучные окончания.

Затем он медленно обошел вокруг лодки, кропя ее святой водой, потом снова забормотал молитвы, остановившись у борта лодки напротив крестного отца и крестной матери, которые стояли неподвижно, держась за руки.

Красивое лицо молодого человека было по-прежнему торжественно, но девушка, задыхаясь от внезапного волнения, почти теряя сознание, стала так дрожать, что зубы ее стучали. Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг, точно в какой-то галлюцинации, начинала приобретать видимость реального. Говорили о свадьбе, присутствовал дававший благословение священник, люди в стихарях гнусавили молитвы; уж не ее ли это венчают?

Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:

– О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!

Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.

Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.

В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.

На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам – из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, – настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.

Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.

Она спросила у него:

– Как ваше имя?

Он сказал:

– Жюльен. Разве вы не знали?

Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:

– Скажите, хотите быть моей женой?

Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», – она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:

– Виконт де Лямар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать лицо в простыни.

Отец продолжал:

– Мы пока отложили ответ.

Она задыхалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:

– Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он... тебе?

Она прошептала, покраснев до корней волос:

– Я согласна, папа.

Папочка, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:

– Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.

Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.

Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.

Сердце Жанны бешено забилося. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.

Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.

Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, 15 августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.

Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеванными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожделение томило их еще смутно.

Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.

После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.

Время от времени она проводила месяц или два в семье.

То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.

Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.

Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.

Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.

Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:

– Это было в год безрассудного поступка Лизон.

Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодуя воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.

С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.

Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.

Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:

– Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?

Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.

Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.

Она постоянно ходила торопливыми и неслышными шажками, никогда не шумела, никогда ни за что не задевала, и, казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась.

Она приехала в середине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе. Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее.

На следующий день по ее приезде никто уже не замечал, что она тут.

Она же была охвачена необычайным душевным волнением, и глаза ее не отрывались от жениха и невесты. Она с особой энергией и лихорадочной деловитостью занялась приданым, работая, как простая швея, в комнате, куда никто к ней не заглядывал.

Она ежеминутно подносила баронессе платки, самолично подрубленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля, и спрашивала:

– Хорошо ли так, Аделаида?

И мамочка, небрежно взглянув, отвечала:

– Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон.

Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня взошла луна; была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную.

Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы, тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом.

От липы и платана ложились тени на широкий луг, белесый и блестящий, который тянулся до самой рожи, казавшейся совсем черной.

Неотразимо замороженная нежной прелестью этой ночи, туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям:

– Папочка, мы пойдем погуляем по траве перед замком.

Барон ответил, не отрывая взгляда от карт:

– Ступайте, дети!

И продолжал игру.

Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине.

Время шло, а они не думали возвращаться. Утомленная баронесса собралась идти к себе.

– Надо позвать влюбленных, – сказала она.

Барон окинул взглядом огромный освещенный сад, где тихонько бродили две тени.

– Оставь их, – ответил он, – там так хорошо! Лизон подождет их; не правда ли, Лизон?

Старая дева подняла испуганные глаза и робко сказала:

– Конечно, подожду.

Папочка помог баронессе подняться и, чувствуя утомление от дневной жары, сказал:

– Я тоже лягу.

И ушел вместе с женой.

Тогда тетя Лизон встала и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и большую спицу, облокотилась на подоконник, любуясь чарующей ночью.

Жених и невеста без конца прохаживались по лужайке от рощи к крыльцу и обратно. Они сжимали друг другу руки и молчали, словно отрешившись от самих себя и целиком сливаясь со всею той поэзией, которой дышала земля.

Вдруг Жанна заметила в четырехугольнике окна силуэт старой девы, обрисованный светом лампы.

– Взгляните, – сказала она, – тетя Лизон смотрит на нас.

Виконт поднял голову и повторил безразличным тоном, каким говорят не думая:

– Да, тетя Лизон смотрит на нас.

И они продолжали мечтать, медленно прогуливаясь, отдавшись своей любви.

Но траву покрывала роса, и от ее свежести они почувствовали легкую дрожь.

– Теперь вернемся, – сказала Жанна. И они возвратились в дом.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; ее голова низко склонилась над работой, а худые пальцы немного дрожали, словно от сильной усталости.

Жанна подошла к ней.

– Уже пора спать, тетя, – сказала она.

Старая дева подняла глаза; они были красны, будто от слез. Влюбленные не обратили на это внимания, но молодой человек заметил вдруг, что тонкие ботинки Жанны совсем мокры. Охваченный беспокойством, он спросил с нежностью:

– Не озябли ли ваши милые ножки?

И вдруг тетины пальцы задрожали так сильно, что работа выпала из ее рук, а клубок шерсти далеко покотился по паркету; стремительно прикрыв лицо руками, она разразилась судорожными рыданиями.

Жених и невеста смотрели на нее в изумлении, не двигаясь с места. Жанна, страшно взволнованная, бросилась на колени и, отводя ее руки от лица, твердила:

– Что с тобой, что с тобой, тетя Лизон?

Тогда бедная женщина, согнувшись от страдания, пролепетала едва слышным от слез голосом:

– Да вот он спросил тебя... не озябли ли ва... а... а... ши милые ножки... Мне... никогда не говорили так... никогда... никогда...

Жанна, изумленная и исполненная жалости, все же почувствовала желание рассмеяться при мысли о влюбленном, расточающем нежности тете Лизон, а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Но тетя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязанье на кресле, и взбежала без свечи, ощупью, по темной лестнице в свою комнату.

Оставшись одни, молодые люди переглянулись: это позабавило их и умилило. Жанна прошептала:

– Бедная тетя!..

Жюльен ответил:

– Она сегодня вечером, должно быть, немного помешалась.

Они держали друг друга за руки, не решаясь расстаться, и тихо, совсем тихо, обменялись первым поцелуем у пустого кресла, только что покинутого тетей Лизон.

На другой день они уже и не помнили о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна была тиха и спокойна, словно утомившись от пережитых сладостных волнений.

У нее не было времени для раздумья и в самое утро решающего дня. Она испытывала лишь сильное чувство пустоты во всем теле, словно вся ее плоть, вся кровь и все кости растаяли под кожей; касаясь предметов, она замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она пришла в себя только перед алтарем во время обряда.

Замужем! Итак, она замужем! Последовательное чередование вещей, движений, событий, происшедших с утра, казалось ей сновидением, настоящим сновидением. Бывают минуты, когда все кажется изменившимся вокруг нас: самые жесты приобретают какое-то новое значение, даже время как будто изменяет своему обычному ходу.

Она чувствовала себя рассеянной, а главное, удивленной. Еще накануне не было никаких изменений в ее существовании, только заветная мечта ее жизни сделалась более близкой, почти осязаемой. Она заснула девушкой, а теперь уже была женщиной.

Итак, она переступила порог, казалось, таивший за собой будущее со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь; ей предстояло вступить в Ожидавшееся.

Обряд кончился. Перешли в ризницу, почти пустую, так как приглашенных не было; затем стали выходить.

Когда они появились в дверях церкви, раздался страшный грохот, от которого новобрачная подскочила, а баронесса громко вскрикнула: то был ружейный залп, произведенный крестьянами; звуки выстрелов доносились до самых «Тополей».

Была подана закуска для семьи, для местного кюре и кюре из Ипора, для мэра и для свидетелей из числа зажиточных местных фермеров.

Затем в ожидании обеда прошлись по саду. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико прогуливались по мамочкиной аллее, а по аллее напротив расхаживал крупными шагами другой священник, читая требник.

По ту сторону замка слышалось шумное веселье крестьян, пивших сидр под яблонями. Все местное население, разодевшееся по-праздничному, наполняло двор. Парни и девушки гонялись друг за другом.

Жанна и Жюльен прошли через рощу, поднялись по склону и в молчании стали смотреть на море. Становилось немного свежо, хотя была только середина августа; дул северный ветер, и яркое солнце холодно светило с голубого неба.

Молодые люди в поисках убежища пересекли ланду и повернули направо, желая достигнуть волнистой и заросшей лесом долины, спускающейся к Ипору. Когда они добрались до перелеска, ни малейшее дуновение не касалось их более, и они свернули с дороги на узкую тропинку, уходившую в чащу под навесом листвы. Они с трудом пробирались вперед, как вдруг Жанна почувствовала руку, тихонько обвившую ее стан.

Она молчала; сердце ее учащенно билось, дыхание захватило. Низкие ветви ласкали ей волосы, и нередко приходилось наклоняться, чтобы пройти. Она сорвала лист; под ним притаились две божьи коровки, похожие на хрупкие красные раковинки.

Немного успокоившись, она простодушно сказала:

– Смотрите, какая парочка.

Жюльен чуть коснулся губами ее уха:

– Сегодня вечером вы станете моей женой.

Хотя она и многому научилась во время своих скитаний по полям, она все же думала только о поэзии любви и поэтому была удивлена. Его женой? Да разве она уже не была ею?

Тогда он принялся осыпать быстрыми поцелуями ее висок и шею, там, где вились первые волоски. Застигнутая врасплох этими поцелуями мужчины, к которым она не привыкла, она всякий раз инстинктивно наклоняла голову в другую сторону, чтобы избежать ласки, которая, однако, приводила ее в восхищение.

Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась, смущенная тем, что они забрались в такую даль. Что о них подумают?

– Возвратимся, – сказала она.

Он отнял руку, которой держал ее за талию; повернувшись, они очутились друг против друга вплотную, так что чувствовали на лицах свое дыхание, и обменялись взглядом. Они обменялись одним из тех пристальных, острых, проникающих вглубь взглядов, в которых как бы сливаются души. Они искали друг друга в глазах и глубже – в непроницаемом, неведомом человеческого существа; они измеряли себя немой и упорный вопросом. Чем будут они друг для друга? Какова будет эта жизнь, которую они начинают вместе? Какие радости, какие счастливые минуты или разочарования готовят они друг другу в этом долгом совместном неразрывном брачном союзе? И им показалось обоим, что они видят друг друга в первый раз.

Бдруг Жюльен, положив руки на плечи жены, поцеловал ее прямо в губы таким глубоким поцелуем, какого она никогда еще не получала. Этот поцелуй наполнил все ее существо, проник в ее жилы и до самого мозга костей; она испытала такое таинственное потрясение, что растерянно оттолкнула Жюльена от себя обеими руками и чуть не упала навзничь.

– Уйдем! Уйдем! – лепетала она.

Он не отвечал, но взял ее руки и уже не выпускал их.

До самого дома они не обменялись больше ни словом. Остаток дня тянулся бесконечно.

За стол сели, когда наступил вечер.

Обед был простой и довольно короткий, вопреки нормандским обычаям. Какая-то неловкость связывала гостей. Только у священников, мэра да четверых приглашенных фермеров прорывалось кое-что от той грубой веселости, которой полагается сопровождать свадьбы.

Смех, казалось, угас, и только мэр оживлял его своими словечками. Было около девяти часов; собрались пить кофе. На первом дворе под яблонями начался сельский бал. В открытое окно был виден весь праздник. Фонари, развешанные на ветвях, придавали листьям серо-зеленый оттенок. Крестьяне и крестьянки водили хоровод и горланили мотив какой-то дикой пляски, которой слабо аккомпанировали два скрипача и кларнетист, примостившиеся на кухонном столе вместо эстрады. Шумное пение крестьян иногда совсем заглушало звук инструментов; слабая музыка, прерываемая неистовыми голосами, казалось, падала с неба обрывками, клочками рассеянных нот.

Два больших бочонка, окруженных пылающими факелами, утоляли жажду толпы. Две служанки были заняты тем, что неустанно полоскали в ушате стаканы и чашки и подставляли их, еще мокрые от воды, под краны, откуда текла или красная струя вина, или золотая струя прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, спокойные старики, вспотевшие девушки – все толкались, протягивали руки, чтобы схватить какую-либо посудину и, запрокинув голову, выпить крупными глотками тот напиток, который они предпочитали.

На одном столе лежали хлеб, масло, сыр, колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок. И этот здоровый, бурный праздник под сводом освещенных листьев пробуждал в угрюмых гостях зала желание так же танцевать и пить из утробы этих больших бочек, закусывая ломтем хлеба с маслом и головкой лука.

Мэр, отбивавший такт ножом, воскликнул:

– Черт возьми! Вот весело, прямо как на свадьбе Ганаша.

Пробежал сдержанный смешок. Но аббат Пико, прирожденный враг светской власти, возразил:

– Вы, вероятно, хотели сказать: как на свадьбе в Кане?

Но мэр стоял на своем:

– Нет, господин кюре, я знаю, что говорю; если я сказал Ганаш, так значит, Ганаш.

Все встали и перешли в гостиную. Затем отправились побродить немного среди подвыпившего простонародья. Потом гости разошлись.

Барон и баронесса говорили о чем-то, понизив голос, и как будто ссорились. Г-жа Аделаида, задыхаясь больше, чем когда-либо, видимо, отказывала в какой-то просьбе мужу; наконец она произнесла почти вслух:

– Нет, друг мой, не могу; я не знаю, как и взяться за это.

Тогда папочка быстро отошел от нее и приблизился к Жанне:

– Не желаешь ли пройтись со мной, дочурка?

Она взволнованно ответила:

– Как хочешь, папа.

Они вышли.

Когда они очутились за дверью, со стороны моря их охватил резкий ветер. Один из тех холодных летних ветров, в котором уже чувствуется осень.

По небу неслись облака, заволакивая и вновь открывая звезды.

Барон прижимал к себе руку девушки и нежно поглаживал ей пальцы. Так они шли несколько минут. Барон, казалось, был в нерешительности и смущении. Наконец он заговорил:

– Крошка моя, я приступаю к трудной задаче, которая должна была бы достаться на долю твоей матери, но из-за ее отказа мне приходится заменить ее в этом деле. Я не знаю, насколько ты осведомлена в житейских делах. Существуют тайны, которые старательно скрывают от детей, от дочерей, особенно от дочерей, так как они должны остаться чистыми помыслом, безупречно чистыми до того часа, когда мы передадим их в руки человека, который возьмет на себя заботу об их счастье. Этому-то человеку и надлежит приподнять завесу, наброшенную на сладкую тайну жизни. Но девушки, если в них до той поры не пробудилось никакого подозрения, бывают часто возмущены той немного грубой реальностью, которая скрывается за мечтами. Раненные душевно, раненные даже телесно, они

отказывают супругу в том, что закон, человеческий закон и закон природы, предоставляет ему в качестве его абсолютного права. Больше этого я не могу тебе сказать, дорогая, но не забывай только одного, что ты целиком принадлежишь мужу.

Но что, в самом деле, могла она знать? О чем могла догадываться? Она задрожала под гнетом тяжелой и мучительной печали и словно какого-то предчувствия. Они вернулись. Неожиданная сцена остановила их в дверях гостиной. Баронесса рыдала на груди Жюльена. Ее всхлипывания – шумные всхлипывания, словно испускаемые кузнечными мехами, – казалось, вырывались у нее сразу из носа, изо рта и из глаз; смущенный молодой человек неловко поддерживал толстую женщину, которая билась в его объятиях, препоручая ему свою дорогую девочку, свою крошку, свою обожаемую дочурку.

Барон кинулся на помощь:

– О, пожалуйста, без сцен, без чувствительности, прошу вас.

И, подхватив жену, он усадил ее в кресло, пока она вытирала себе лицо.

Потом он обернулся к Жанне:

– Ну, малютка, поцелуй скорее мать и ступай ложиться.

Готовая также расплакаться, она стремительно поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон уже ушла к себе. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не находили слов; мужчины во фраках, стоя, растерянно глядели перед собой, а баронесса подавленно сидела в кресле; последние рыдания еще душили ее. Общее замешательство становилось нестерпимым, и барон заговорил о путешествии, которое молодые должны были предпринять через несколько дней.

Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розали, плакавшей в три ручья. Руки служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавок, и она казалась взволнованной, право, гораздо более своей госпожи. Но Жанна не замечала слез служанки; ей казалось, что она перешла в другой мир, перенеслась на другую планету и оторвана от всего, что знала, от всего, что было ей дорого. В ее жизни, в ее сознании как будто произошел полный переворот; ей даже пришла в голову странная мысль: любит ли она своего мужа? Теперь вдруг он представился ей совершенно чужим человеком, которого она почти не знает. Три месяца тому назад она и не ведала о его существовании, а теперь стала его женой. Как это случилось? Зачем так скоро выходить замуж, словно бросаясь в пропасть, открывшуюся под ногами?

Окончив ночной туалет, она скользнула в постель; прохладные простыни, вызвавшие в ней дрожь, еще усилили ощущение холода, одиночества и грусти, которое уже два часа тяготило ее.

Розали скрылась, продолжая всхлипать; Жанна ждала. Тоскливо, со стесненным сердцем ждала она того, чего хорошенько не знала, но что угадывала и о чем в неопределенных словах сообщил ей отец, – страшного откровения великой тайны любви.

Три раза легко стукнули в дверь, хотя она и не слышала шагов по лестнице. Она страшно задрожала и не ответила. Постучали снова, затем заскрежетал замок. Она спряталась с головой под одеяло, словно к ней проник вор. По паркету тихонько проскрипели ботинки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она нервно вздрогнула и слабо вскрикнула: высвободив голову, она увидела Жюльена, стоявшего перед ней и смотревшего на нее с улыбкой.

– О, как вы меня испугали! – сказала она.

Он спросил:

– Так вы меня совсем не ждали?

Она не ответила. Он был во фраке, и его красивое лицо, как всегда, было серьезно; ей стало страшно стыдно, что она лежит перед столь корректным человеком.

Они не знали, что говорить, что делать, и не смели даже взглянуть друг на друга в эту важную и решительную минуту, от которой зависело интимное счастье всей их жизни.

Он, быть может, смутно чувствовал, какую опасность представляет эта борьба, сколько гибкого самообладания, сколько лукавой нежности требуется, чтобы не оскорбить нежную чистоту и бесконечную деликатность этой души, девственной и воспитанной одними мечтами.

Он тихонько взял ее руку, поцеловал и, преклонив колена перед кроватью, как перед алтарем, прошептал голосом, легким, как дуновение:

– Будете вы меня любить?

Сразу успокоившись, она приподняла с подушки голову, покрытую, как облаком, кружевами, и улыбнулась:

– Я уже люблю вас, мой друг.

Он взял в рот маленькие тонкие пальчики жены, и благодаря этому голос его изменился, когда он сказал:

– Согласны ли вы доказать, что любите меня?

Снова заволновавшись, она отвечала, не понимая хорошенько того, что говорит, и все еще находясь под свежим воспоминанием слов отца:

– Я ваша, мой друг.

Он покрыл кисть ее руки влажными поцелуями и, медленно выпрямляясь, приближался к ее лицу, которое она пыталась снова спрятать.

Внезапно, закинув руку через постель, он обнял жену сквозь простыни, а другую руку просунул под изголовье, приподнял подушку вместе с головой и тихо-тихо спросил:

– Так вы уступите мне крошечное местечко рядом с вами?

Ей стало страшно, инстинктивно страшно, и она пролепетала:

– О, не теперь, прошу вас.

Он, казалось, был озадачен, слегка обижен и возразил тоном, по-прежнему умоляющим, но уже более резким:

– Почему же не теперь, раз мы все равно кончим этим?

Ей стало досадно на него за эти слова; но, покорная и смирившаяся, она во второй раз повторила:

– Я ваша, мой друг.

Тогда он быстро прошел в туалетную комнату, и она ясно слышала его движения, шорох снимаемой одежды, звяканье денег в кармане, падение ботинок одного за другим.

И вдруг он быстро прошел в носках и кальсонах через комнату, чтобы положить часы на камин. Затем вернулся бегом в соседнюю комнату, где возился еще некоторое время; Жанна быстро повернулась на другой бок и закрыла глаза, почувствовав, что он пришел.

Она привскочила, словно желая броситься на пол, когда по ее ноге скользнула другая нога, холодная и волосатая; закрыв лицо руками, растерявшись, готовая кричать от страха и смятения, она зарылась в самую глубь постели.

Он тотчас же схватил ее в свои объятия, хотя она и повернулась к нему спиной, и стал жадно целовать ее шею, развевавшиеся кружева чепчика и вышитый край сорочки.

Она не двигалась, застыв в ужасной тревоге, чувствуя сильную руку, которая искала ее грудь, спрятанную между локтями. Она задыхалась, потрясенная этим грубым прикосновением; ее охватило сильнейшее желание спастись, бежать по дому, запрятаться куда-нибудь подальше от этого человека.

Он перестал двигаться. Она чувствовала своею спиной теплоту его тела. Тогда ее ужас стал проходить, и она вдруг подумала, что ей стоит только повернуться, чтобы поцеловать его.

Наконец терпение его как будто истощилось, и он сказал опечаленным тоном:

– Так вы не хотите стать моей женушкой?

Она пролепетала, все еще закрывая лицо ладонями:

– А разве я уже не жена вам?

Он отвечал с оттенком раздражения:

– Ну, милая моя, не смейтесь же надо мной.

Она была смущена его недовольным голосом и вдруг обернулась к нему, чтобы попросить прощения. Он схватил ее тело, яростно, как бы изголодавшись по ней, и принялся осыпать быстрыми поцелуями, жгучими поцелуями, безумными поцелуями все ее лицо и верхнюю часть груди, оглушая ее ласками. Она раскинула руки и оставалась пассивной под этим напором, не отдавая себе более отчета в том, что делается с нею, что делает он, и испытывая такое смятение мыслей, что ничего не понимала. Но вдруг острая боль пронизала ее; она застонала, извиваясь в его объятиях, пока он неистово овладевал ею.

Что произошло потом? Она совсем не помнила этого, потому что потеряла голову; ей казалось только, что он осыпает ее губы градом благодарных поцелуев. Потом, вероятно, он говорил с нею, и она, должно быть, ему отвечала. Потом он делал новые попытки, которые она отвергала с ужасом; отбиваясь, она почувствовала на его груди ту же густую шерсть, которую уже ощутила на ноге, и в испуге отодвинулась от него. Устав наконец безуспешно помогать, он неподвижно лежал на спине.

Тогда она задумалась; отчаявшись до глубины души, разочаровавшись в опьяняющих восторгах, которые мечта рисовала ей совсем иными, разочаровавшись в упоительном ожидании, теперь разрушенном, в блаженстве, ныне разбитом, она говорила себе: «Так вот что он называет быть его женой. Вот что! Вот что!»

И она долго пролежала так, в полной безутешности, блуждая взором по обивке стен, по старинной любовной легенде, окружавшей

комнату с четырех сторон.

Так как Жюльен больше не говорил и не двигался, она медленно перевела на него взгляд и увидела, что он спит! Он спал с полуоткрытым ртом, со спокойным лицом! Он спал!

Она не могла этому поверить, чувствуя себя возмущенной, еще более оскорбленной этим сном, нежели его грубостью, чувствуя, что с нею обошлись как с первой встречной. Как мог он спать в такую ночь? Значит, то, что произошло между ними, не представляло для него ничего удивительного? О, лучше бы уж ее избили, еще раз изнасиловали, замучили отвратительными ласками до потери сознания!

Опершись на локоть, склонившись к нему, она неподвижно прислушивалась к легкому свисту, вырывавшемуся из его губ и иногда походившему на храпение.

Наступил день, сначала тусклый, затем светлый, затем розовый, затем сверкающий. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену, улыбнулся и спросил:

– Хорошо ли ты спала, дорогая?

Она заметила, что он говорит ей «ты», и ошеломленно ответила:

– Да. А вы?

Он сказал:

– О, прекрасно!

И, повернувшись к ней, он ее поцеловал, а затем стал спокойно разговаривать. Он развивал ей свои планы жизни, построенной на основе бережливости; это слово, повторенное им несколько раз, удивило Жанну. Она слушала мужа, не улавливая смысла слов, смотрела на него и думала о тысяче других мимолетных вещей, мелькавших, едва задевая ее сознание.

Пробило восемь часов.

– Однако надо вставать, – сказал он, – мы покажемся смешными, если долго останемся в постели.

Он встал первым. Одевшись, он любезно помог жене во всех мельчайших деталях туалета, не разрешая позвать Розали.

В ту минуту, когда они выходили из спальни, он остановил ее:

– Знаешь, наедине мы можем теперь говорить друг другу «ты», но перед родителями лучше еще подождать. Вот когда вернемся из свадебного путешествия, это будет вполне естественно.

Она вышла лишь к завтраку. И день прошел как обычно, словно ничего нового не случилось. Только в доме стало одним человеком больше.

Четыре дня спустя приехала берлина, которая должна была отвезти их в Марсель.

После тоски, испытанной в первую ночь, Жанна уже привыкла к близости Жюльена; к его поцелуям, к его нежным ласкам, хотя отвращение к более интимным их отношениям не уменьшилось.

Она находила его красивым, любила его и снова чувствовала себя счастливой и веселой.

Прощание было кратким и не печальным. Только баронесса казалась взволнованной; в момент отъезда экипажа она сунула в руку дочери толстый кошелек, тяжелый, как свинец.

– Это на мелкие расходы молодой дамы, – сказала она.

Жанна положила его в карман, и лошади тронулись.

К вечеру Жюльен сказал:

– Сколько положила тебе мать в кошелек?

Она уже позабыла о нем и высыпала содержимое себе на колени. Полился поток золота: две тысячи франков! Она захлопала в ладоши:

– О, теперь я наделаю глупостей!

Затем она убрала деньги.

После недели пути по страшной жаре они приехали в Марсель.

А на другой день маленький пакетбот «Король Людовик», отправлявшийся в Неаполь через Аяччо, увозил их на Корсику.

Корсика! Маки! Разбойники! Горы! Родина Наполеона! Жанне казалось, что она покидает действительность и, все еще бодрствуя, погружается в сон.

Стоя рядом на палубе корабля, они глядели, как бегут мимо скалы Прованса. Неподвижное море, ярко-голубое, словно сгустившееся, словно затвердевшее в жгучем свете солнца, расстиралось под беспредельным небом почти неестественно синего цвета.

Она сказала:

– Помнишь нашу прогулку в лодке дяди Лястика?

Вместо ответа он быстро поцеловал ее в ухо.

Колеса парохода били по воде, нарушая ее глубокий сон, а позади тянулся прямой линией, отмечая путь судна и теряясь из виду, длинный вспаивающий след, широкая бледная полоса взбаламученных волн, пенившихся, как шампанское.

Вдруг у носа корабля, на расстоянии всего нескольких саженей, выскочил из воды громадный дельфин, затем он нырнул головой вниз и исчез. Жанна, объятая испугом, вскрикнула и бросилась на грудь Жюльену. Потом рассмеялась над своим страхом и боязливо взглянула, не появится ли животное опять. Через несколько секунд оно снова выскочило, как большая заводная игрушка. Потом опять нырнуло и вновь выплыло; потом их стало двое, потом трое, потом шестеро; они, казалось, резвились вокруг тяжелого судна и конвоировали своего чудовищного собрата – деревянную рыбу с железными плавниками. Они плыли то слева от корабля, то появлялись справа, иногда все вместе, иногда один за другим, весело преследуя друг друга, точно в игре, и подпрыгивали в воздух сильным прыжком, описывая кривую линию, а затем вновь гуськом погружались в воду.

Жанна хлопала в ладоши, трепетала от восторга при каждом появлении громадных и ловких пловцов. Подобно им, сердце ее прыгало в безумной детской радости.

Но вдруг они исчезли. Их заметили еще раз, но уже очень вдалеке, в открытом море, а потом их не стало видно, и Жанна в течение нескольких секунд испытывала огорчение оттого, что они уплыли.

Наступил вечер, тихий, кроткий, лучезарный вечер, залитый светом и полный блаженного покоя. Ни малейшего волнения не было ни в воздухе, ни на воде; бесконечный покой моря и неба передавался их оцепеневшим душам, – в них также замерло всякое волнение.

Огромное солнце тихо спускалось к Африке, к невидимой Африке, и жар ее раскаленной почвы как будто уже ощущался; но какая-то ласкающая свежесть, нисколько не походившая, однако, на морской ветер, слегка овеяла их лица, когда светило исчезло.

Им не захотелось возвращаться в свою каюту, куда долетали все ужасные запахи пакетбота; они растянулись на палубе, рядом, завернувшись в плащи. Жюльен заснул тотчас же, но Жанна лежала с открытыми глазами, возбужденная новыми впечатлениями. Однообразный стук колес укачивал ее, и она рассматривала над своей головой на чистом южном небе легионы звезд, таких ясных, с резким, мерцающим и как бы влажным сиянием.

К утру, однако, она забылась. Ее разбудили шум и голоса. Матросы с песнями прибирали корабль. Она растолкала неподвижно спавшего мужа, и они поднялись.

С восторгом упивалась она соленым вкусом тумана, пропитавшего ее всю, вплоть до кончиков ногтей. Кругом – только море. Однако впереди на волнах покоилось что-то серое, еще неясное в свете зари, какое-то нагромождение странных, заостренных, изрезанных облаков.

Затем оно стало более определенным; очертания выступили резче на просветлевшем небе, появилась длинная линия острых, причудливых гор: то была Корсика, словно окутанная легкой вуалью.

За нею взошло солнце, разрисовывая все выступы хребтов черными тенями; затем запылали вершины, пока остальная часть острова еще оставалась в дымке тумана.

Капитан, маленький старичок с бурым лицом, высохший, сморщенный, заскорузлый, съезжившийся под резкими и солеными ветрами, появился на палубе и сказал Жанне голосом, охрипшим от тридцатилетнего командования, сорванным из-за крика во время бурь:

– Чувствуете, как пахнет эта негодяйка?

Действительно, Жанна почувствовала сильный и своеобразный запах растений, какие-то дикие ароматы.

Капитан продолжал:

– Так пахнет Корсика, сударыня; это ее запах, запах красивой женщины. После двадцати лет отсутствия я узнал бы его за целых пять миль. Я сам отсюда. Тот, что на острове Святой Елены, говорят, всегда вспоминал запах родины. Он мне сродни.

Капитан, сняв шляпу, поклонился Корсике и поклонился еще туда, за океан, великому пленному императору, с которым он был в родстве.

Жанна была до того растрогана, что чуть не заплакала.

Моряк протянул руку к горизонту.

– «Кровавые горы!» – сказал он.

Жюльен стоял возле жены, обняв ее за талию, и оба они глядели вдаль, стараясь отыскать указанную точку.

Наконец они увидели несколько скал пирамидальной формы, которые корабль вскоре обогнул, входя в широкий спокойный залив, окруженный цепью высоких гор, отлогие склоны которых казались покрытыми мхом.

Капитан указал на эту зелень:

– Это маки!

По мере приближения круг гор как будто замыкался за кораблем, медленно плывшим по лазоревому озеру, такому прозрачному, что иногда можно было видеть дно.

И вдруг показался город, сплошь белый, в глубине залива, у подножия прибрежных скал.

Несколько небольших итальянских судов стояли в порту на якоре. Четыре-пять лодок шныряли около «Короля Людовика» в ожидании пассажиров.

Жюльен, собиравший багаж, спросил шепотом у жены:

– Довольно двадцати су носильщику?

Всю неделю он ежеминутно задавал ей все тот же вопрос, каждый раз вызывавший в ней неприятное чувство.

Она ответила с легким нетерпением:

– Если кажется, что этого недостаточно, нужно прибавить.

Он без конца препирался с хозяевами и лакеями гостиниц, с извозчиками, с разными торговцами, и когда с помощью всяческих уловок ему удавалось добиться какой-нибудь уступки, он говорил Жанне, потирая руки:

– Не люблю, чтобы меня обкрадывали.

Она дрожала при виде поданного счета, так как была уверена наперед, что муж станет возражать по поводу каждой цифры; она чувствовала себя униженной этим торгашеством и краснела до корней волос под презрительными взглядами лакеев, которыми они провожали ее мужа, держа в руке ничтожные чаевые.

Теперь у него опять вышел спор с лодочником, который перевез их на сушу.

Первое дерево, которое увидела Жанна, была пальма!

Они остановились в большой пустой гостинице на углу огромной площади и заказали завтрак.

Когда они кончили десерт и Жанна встала, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен заключил ее в объятия и нежно прошептал ей на ухо:

– А не прилечь ли нам немножко, моя кошечка?

Она удивилась:

– Прилечь? Но я совсем не устала.

Он обнял ее:

– Я хочу тебя. Понимаешь? Ведь уже два дня!..

Она покраснела и стыдливо пролепетала:

– О, теперь! Но что скажут о нас? Что подумают? Как ты попросишь комнату среди бела дня? Жюльен, умоляю тебя...

Но он прервал ее:

– Плевать мне на то, что скажет и подумает прислуга. Думаешь, меня это стесняет?

И он позвонил.

Она не возразила больше ни слова и опустила глаза, возмущаясь душою и телом против этого непрерывного желания мужа, желания, которому она повиновалась с отвращением, смиряясь, но чувствуя себя униженной, видя в этом нечто животное, постыдное и, наконец, просто грязное.

Ее чувства еще не проснулись, а муж обращался с ней, как будто она уже вполне разделяла его пыл.

Когда пришел лакей, Жюльен попросил его проводить их в комнату. Слуга, настоящий корсиканец, обросший волосами до самых глаз, не понимал его и уверял, что комната будет приготовлена к ночи.

Жюльен с нетерпением пояснил:

– Нет, сейчас. Мы устали с дороги и хотим отдохнуть.

Тогда лакей чуть усмехнулся, а Жанне захотелось убежать.

Когда они спустились часом позже, она боялась проходить мимо встречных лакеев, так как была убеждена, что они станут смеяться и перешептываться за ее спиной. Она сердилась в глубине души на Жюльена за то, что он не понимает этого и совершенно лишен тонкой стыдливости и врожденной деликатности; она чувствовала между ним и собою словно какую-то завесу, какое-то препятствие и в первый раз заметила, что два человека никогда не могут проникнуть друг другу в душу, в самую глубь мыслей, что они могут идти всю жизнь рядом, иногда тесно сплетаясь в объятиях, но никогда не сливаясь окончательно, и что нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким.

Они прожили три дня в этом городке, спрятавшемся в глубине голубой бухты и раскаленном, как горнило, за грядой холмов, которая не пропускала к нему ни малейшего дуновения ветра.

Потом был выработан маршрут их путешествия, и для того, чтобы не отступать перед трудными переходами, они решили нанять лошадей. Они взяли двух маленьких, худых, неутомимых корсиканских жеребцов с бешеным взглядом и отправились ранним утром в дорогу. Их сопровождал проводник верхом на муле; он вез провизию, потому что в этой дикой стране нет трактиров.

Дорога шла сначала по берегу залива, а затем спускалась в неглубокую лошину, которая вела к высоким горам. Часто приходилось пересекать почти высохшие потоки; чуть заметный ручей еще шелестел кое-где под камнями, как притаившийся зверек, и робко журчал.

Невозделанная страна казалась совсем голой. Береговые склоны были покрыты высокой травой, уже пожелтевшей в это палящее время года. Изредка попадались горцы, то пешком, то на маленькой лошадке, то верхом на осле ростом с собаку. И у каждого из них висело за плечом заряженное ружье, старое и ржавое, но опасное в их руках.

От острого запаха душистых растений, покрывавших остров, воздух, казалось, сгущался; дорога медленно поднималась посреди длинных горных извилин.

Розовые или голубые гранитные вершины придавали пустынному пейзажу что-то волшебное; леса громадных каштанов на более низких склонах походили на зеленый кустарник, до того колоссальны подъемы почвы в этой стране.

Иногда проводник, протягивая руку в сторону крутых высот, произносил какое-либо название. Жанна и Жюльен всматривались, сначала ничего не видели, но наконец открывали что-то серое, подобное куче камней, упавших с вершины. То была какая-нибудь деревушка, маленький поселок из гранита, уцепившийся, повиснувший, как настоящее птичье гнездо, и почти неразличимый на громадной горе.

Длинное путешествие шагом стало раздражать Жанну.

– Поскачем немного, – предложила она.

И она пустила лошадь. Потом, не слыша рядом с собой лошади мужа, обернулась и расхохоталась как сумасшедшая, увидев, что он едет бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. Самая его красота и фигура прекрасного всадника лишь усугубляли смехотворность его неуклюжести и трусости.

Тогда они поехали тихой рысью. Теперь дорога тянулась лесом, который, как плащ, одевал все побережье.

То были маки, непроходимые маки, образовавшиеся из зеленых дубов, можжевельника, толокнянок, мастиковых деревьев, колючей крушины, вереска, самшита, мирта и букса, причем между ними переплетались и спутывались, как волосы, вьющиеся ломоносы, чудовищные папоротники, жимолость, розмарины, лаванда, терновники, покрывавшие склоны гор какой-то свалывшейся шерстью.

Они проголодались. Проводник догнал их и провел к одному из тех очаровательных источников, которые так часто встречаются в гористых странах; то была тонкая и круглая струйка ледяной воды, выходящая из отверстия в скале и стекавшая по листу каштана, положенному каким-то прохожим так, чтобы подвести струйку как раз ко рту.

Жанна была так счастлива, что с трудом удерживалась, чтобы не закричать от радости.

Они снова тронулись в путь и начали спускаться, объезжая Сагонский залив.

К вечеру они проехали Каргез, греческую деревню, основанную тут когда-то колонией беглецов, изгнанных с родины. Несколько высоких и красивых девушек с изящными очертаниями стана, с длинными руками, с тонкой талией, своеобразно грациозных, стояли около фонтана. Жюльен крикнул им: «Добрый вечер», – и они отвечали певучими голосами на благозвучном языке своей покинутой страны.

По приезде в Пиана им пришлось просить гостеприимства, как в стародавние времена, как в глухих странах. Жанна дрожала от радости, ожидая, пока отворится дверь, в которую постучал Жюльен. О, это было настоящее путешествие со всеми неожиданностями неизведанных дорог!

Они попали в семью молодоженов. Их приняли так, как, должно быть, патриархи принимали гостя, посланного богом, их уложили на матрацах из маисовой соломы в старом, полусгнившем домишке, весь сруб которого, источенный червями и пронизанный длинными ходами шашеней, пожирающих бревна, был полон шороха и словно жил и вздыхал.

Они выехали с рассветом и вскоре остановились против леса, настоящего леса из пурпурового гранита. Это были острия, колонны, колоколенки, поразительные фигуры, изваянные временем, разьедающим ветром и морским туманом.

Доходя высотой до трехсот метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества.

Жанна молчала и, чувствуя, как сжимается ее сердце, взяла и стиснула руку Жюльена, охваченная страстным желанием любви при виде такого великолепия.

Выйдя из этого хаоса, они обнаружили вдруг новый залив, опоясанный кровавой стеной красного гранита. И в синем море отражались эти пурпуровые скалы.

Жанна прошептала: «О Жюльен!» – не находя других слов, умиляясь от восхищения, чувствуя, что у нее перехватывает горло. И две слезинки покатались из ее глаз. Он изумленно смотрел на нее.

– Что с тобой, моя кошечка?

Она вытерла щеки, улыбнулась и сказала слегка дрожащим голосом:

– Ничего, это нервы... Не знаю... Я поражена. Я так счастлива, что любой пустяк переворачивает мне все сердце.

Он не понимал этой женской нервности, потрясений чуткой души, которая способна доходить до безумия от пустяка, которую энтузиазм волнует, точно катастрофа, а едва уловимое ощущение потрясает, сводит с ума от радости или погружает в отчаяние.

Эти слезы казались ему нелепыми, и, всецело озабоченный плохой дорогой, он сказал:

– Смотри-ка лучше за лошадью.

По дороге, почти что непроходимой, они спустились к заливу, затем повернули направо, чтобы начать подъем по мрачной долине Ота.

Но тропинка оказалась ужасной. Жюльен предложил:

– Не подняться ли нам пешком?

Она ничего лучшего не желала и была в восхищении от возможности пройтись и побыть с ним наедине после недавнего волнения.

Проводник проехал вперед с мулом и лошадьми, а они двинулись неторопливым шагом.

Гора, расколота сверху донизу, осела. Тропинка уходила в образовавшуюся брешь и вилась между двумя громадными стенами; могучий поток бежал по этому ущелью. Воздух был ледяной, гранит казался черным, а кусок голубого неба там, наверху, изумлял и вызывал головокружение.

Жанна вздрогнула от внезапного шума. Она подняла глаза; огромная птица вылетела из какого-то отверстия: это был орел. Его распростертые крылья почти касались обеих стен расселины, напоминая колодец. Он поднялся в лазурь и исчез.

Далее трещина горы раздвигалась; тропинка вилась зигзагами между двух пропастей. Жанна легко и беззаботно шла впереди; под ее ногами скатывались мелкие камни, но она не страшилась и наклонялась над безднами. Он следовал за нею, слегка запыхавшись, и, боясь головокружения, глядел под ноги.

Вдруг их затопило солнечными лучами; казалось, они выходили из ада. Им хотелось пить; мокрый след провел их через хаотическое нагромождение камней к крохотному источнику, отведенному в выдолбленную колоду и служившему водопоем для коз. Мшистый ковер покрывал кругом землю. Жанна стала на колени, чтобы напиться; то же сделал и Жюльен.

И так как она слишком уж смаковала свежую воду, он охватил ее за талию, стараясь отстранить от деревянного стока. Она противилась; их губы боролись, встречались, отталкивали друг друга. В этой борьбе они схватывали поочередно тонкий кончик трубки, из которой текла вода, и закусывали его, чтобы не выпустить. Струйка холодной воды, беспрестанно подхватываемая и бросаемая, прерывалась и снова лилась, обрызгивая лица, шеи, платья, руки. Капли, подобные жемчужинам, блестели на их волосах. И поцелуи уносились бежавшей водой.

Внезапно Жанну осенило вдохновение любви. Наполнив рот прозрачной жидкостью и надув щеки, как два бурдюка, она показала жестом Жюльену, что хочет дать ему напиться из уст в уста.

Он подставил рот, улыбаясь, откинув назад голову, раскрыв объятия, и выпил залпом из этого живого источника, влившего в его тело жгучее желание.

Жанна опиралась на него с необычайной нежностью, ее сердце трепетало, груди вздымались, взор стал мягким, словно увлажнился водой. Она чуть слышно шепнула: «Жюльен... люблю тебя!» – и, притянув его к себе, опрокинулась на спину, закрывая руками зардевшееся от стыда лицо.

Он упал на нее и обнял с испуганием. Она задыхалась в нервном ожидании и вдруг испустила крик, пораженная, как молнией, тем ощущением, которого желала.

Они долго добивались до вершины горы, – так была потрясена и разбита Жанна, и только к вечеру прибыли в Эвиза к Паоли Палабретти, родственнику их проводника.

То был человек высокого роста, немного сгорбленный, с мрачным видом чахоточного. Он провел их в комнату, в жалкую комнату из голого камня, считавшуюся, однако, красивой в этой стране, где изящество совершенно неизвестно; на своем языке, на корсиканском наречии, смеси французского с итальянским, он сказал, что рад принять их, но вдруг был прерван звонким голосом: маленькая брюнетка с большими черными глазами, загорелой кожей, тонкой талией, сверкая зубами, обнаженными в беспрестанном смехе, бросилась к ним, обняла Жанну и пожала руку Жюльену, повторяя:

– Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь, как живете?

Она взяла у них шляпы, шали и убрала все это одной рукой, так как носила другую на перевязи; затем она всех выпроводила, сказав мужу:

– Ступай погуляй с ними до обеда.

Г-н Палабретти тотчас же повиновался и повел молодых людей осматривать деревню. Он еле волочил ноги, еле говорил, беспрестанно кашляя, и ежеминутно твердил:

– Это холодный воздух Вале повлиял на мою грудь.

Он повел их заглохшей тропинкой под высокими каштанами. Вдруг он остановился и произнес своим монотонным голосом:

– Вот здесь Матье Лори убил моего двоюродного брата, Жана Ринальди. Взгляните, я стоял тут, около Жана, когда Матье показался в десяти шагах от нас.

«– Жан, – крикнул он, – не ходи в Альбертачче; не ходи туда, Жан, а то я убью тебя; это уж я тебе говорю.

Я взял Жана за руку и сказал:

– Жан, не ходи туда, ведь он сделает это.

Все это было из-за девушки, Паулины Синакупи, за которой оба они ухаживали.

Но Жан крикнул:

– Я пойду туда, Матье; не ты мне помешаешь!

Тогда Матье прицелился, прежде чем я успел схватиться за свое ружье, и выстрелил.

Жан высоко подпрыгнул, словно ребенок, скачущий через веревочку, – именно так, сударь, – и грохнулся на меня всем телом, так что ружье выскочило у меня из рук и отлетело вон к тому каштану.

Рот у Жана был открыт, но он так и не произнес ни слова; он был мертв».

Молодые люди смотрели, пораженные, на спокойного свидетеля преступления.

Жанна спросила:

– А убийца?

Паоли Палабретти долго кашлял, затем сказал:

– Он скрылся в горы. Мой брат убил его в следующем году. Знаете, мой брат, Филипп Палабретти, – разбойник.

Жанна вздрогнула:

– Ваш брат – разбойник?

У невозмутимого корсиканца блеснула в глазах гордость.

– Да, сударыня, он был знаменитый разбойник. Он уложил шестерых жандармов. Он погиб вместе с Никола Морали после шестидневной схватки, когда их окружили в Ниоло и когда им грозила голодная смерть.

И он прибавил: «Таков обычай в нашей стране», – тем же тоном, каким говорил: «Воздух с Вале холодный».

Они вернулись к обеду, и маленькая корсиканка обращалась с ними так, словно знала их уже лет двадцать.

Но беспокойство не покидало Жанну. Испытает ли она еще раз в объятиях Жюльена то странное и бурное потрясение чувств, которое она ощутила на мху у ручья?

Когда они оказались одни в комнате, ее охватила боязнь остаться бесчувственной под его поцелуями. Но она быстро уверилась в противном, и то была ее первая ночь любви.

На следующий день, когда настал час отъезда, она долго не решалась покинуть этот скромный домик, где для нее, казалось ей, началась новая, счастливая, жизнь.

Она зазвала в свою комнату маленькую жену хозяина и, уверяя, что вовсе не хочет ей делать подарка, в то же время настояла, даже досадуя на самое себя, что пришлет ей из Парижа после возвращения что-нибудь на память; этому подарку она придавала какое-то особое, почти суеверное значение.

Молодая корсиканка долго противилась, не желая ничего получать. Наконец согласилась.

– Хорошо, – сказала она, – тогда пришлите мне маленький пистолет, совсем маленький.

Жанна широко раскрыла глаза. А та тихонько щепнула ей на ухо, будто доверяя дорогую и сокровенную тайну:

– Чтобы убить деверя.

Смеясь, она быстро смотала с руки, которую носила на перевязи, покрывавшие ее повязки; Жанна увидела на пухлом и белом теле сквозную рану, нанесенную ударом стилета и уже почти зарубцевавшуюся.

– Не будь я такой же сильной, как он, – сказала она, – он убил бы меня. Мой муж не ревнив и знает меня; кроме того, он болен, как вам известно, а это смиряет ему кровь. Впрочем, я честная женщина, сударыня; но деверь слушает все, что ему болтают. Он ревнует меня вместо мужа и, наверно, начнет снова. Когда у меня будет пистолет, я буду спокойна и уверена, зная, что смогу отомстить.

Жанна пообещала прислать оружие и, нежно обняв свою новую приятельницу, отправилась в дорогу.

Конец путешествия был для нее сплошным сном, бесконечным объятием, пьянящею лаской. Она ничего не видела – ни пейзажей, ни людей, ни мест, где они останавливались. Она смотрела только на Жюльена.

Тогда между ними возникла детская, восхитительная интимность, полная любовных дурачеств, глупых и очаровательных словечек, нежных прозвищ каждого изгиба и контура, каждой складочки на их теле, которыми наслаждались их уста.

Жанна спала обычно на правом боку, и ее левая грудь при пробуждении часто оказывалась не покрытой одеялом. Жюльен, заметив это, прозвал ее «беглянкой», а другую прозвал «неженкой» за то, что розовый ее кончик казался более чувствительным к поцелуям.

Глубокая дорожка между ними стала «мамочкиной аллеей», потому что он беспрестанно по ней прогуливался; другая дорожка, более сокровенная, была прозвана «путем в Дамаск» в память о долине Ота.

По приезде в Бастиа надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил у себя в карманах. Не находя того, что ему было нужно, он обратился к Жанне:

– Раз ты совсем не пользуешься двумя тысячами твоей матери, давай я буду их носить. У меня за поясом они в большей безопасности; кроме того, это избавит меня от размена денег.

Она протянула ему кошелек.

Они приехали в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, на всем побережье.

Однажды утром, когда дул мистраль, они снова очутились в Марселе.

Прошло два месяца со времени их отъезда из «Тополей». Было 15 октября.

Под впечатлением холодного ветра, который дул, казалось, из далекой Нормандии, Жанну охватила грусть. Жюльен с некоторых пор словно изменился; он был усталый, безразличный, и она боялась, сама не зная чего.

Еще на четыре дня отложила она отъезд домой, не решаясь покинуть эту прекрасную солнечную страну. Ей казалось, что она завершила круг своего счастья. Наконец они уехали.

В Париже они должны были купить все необходимое для окончательного устройства в «Тополях», и Жанна радовалась при мысли о чудесных вещах, которые привезет с собой благодаря подарку мамочки; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвиза.

На другой день после приезда она сказала Жюльену:

– Милый, дай мне мамины деньги, я хочу сделать кое-какие покупки.

Он обернулся к ней с недовольным лицом:

– Сколько тебе нужно?

Пораженная, она пролепетала:

– Да... сколько хочешь.

Он ответил:

– Вот тебе сто франков – только не транжирь их.

Она не знала, что сказать, чувствуя себя растерянной и сконфуженной.

Наконец она произнесла запинаясь:

– Но... я... я ведь дала тебе эти деньги лишь затем...

Он перебил ее:

– Ну да, разумеется. Лежат ли они в твоём или в моём кармане, не все ли равно, раз у нас общий кошелек? Ведь я же тебе не отказываю, не правда ли, раз даю сто франков.

Она взяла пять золотых, не прибавив ни слова, но не осмелилась попросить у него больше и купила только пистолет.

Неделю спустя они уехали обратно в «Тополя».

У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась; начались нескончаемые объятия. Мамочка плакала; Жанна, растроганная, отерла две слезинки; отец в волнении ходил взад и вперед.

Затем у камина в гостиной последовало описание путешествия, пока выгружали багаж. Слова потоком неслись из уст Жанны, и все было рассказано в каких-нибудь полчаса, за исключением подробностей, забытых в таком быстром изложении.

Потом молодая женщина отправилась распаковывать чемоданы. Розали, также взволнованная, помогала ей. Когда все было кончено, когда белье, платье и туалетные принадлежности были разложены по местам, горничная оставила свою госпожу. Чувствуя себя несколько утомленной, Жанна опустилась на стул.

Она спрашивала себя, что ей делать теперь, и искала занятия для ума, работы для рук. Ей не хотелось идти в гостиную к дремавшей матери, и она подумала о прогулке; но местность казалась такой печальной, что при одном взгляде из окна она почувствовала на сердце тоскливую тяжесть.

Тогда она поняла, что у нее нет и больше никогда не будет никакого дела. Все свои юные годы в монастыре она была занята мыслями о будущем, суетными мечтами. Ее волновали неясные надежды, настолько заполняя время, что она не замечала, как проходили дни. Затем, как только она покинула суровые стены, среди которых расцвели ее мечты, ожидаемая ею любовь тотчас же осуществилась. Человек, которого она ждала в мечтах, которого встретила, полюбила и за которого спустя несколько недель уже вышла замуж, как выходят обыкновенно при таких внезапных решениях, унес ее в своих объятиях, не давая ей опомниться.

Но вот сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей двери ее неясным надеждам, ее трепетным ожиданиям неизвестного. Да, ожиданиям пришел конец.

Теперь ей нечего было больше делать; ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала все это как некое разочарование, как угасание грез.

Она встала и прислонилась лбом к холодному стеклу окна. Поглядев некоторое время на небо, по которому неслись мрачные тучи, она решила выйти из дома.

Неужели это те же места, та же трава, те же деревья, что были в мае? Что случилось с солнечной радостью листьев, с поэтической зеленью лужайки, где горели одуванчики, где краснели кровью цветы мака, где сияли маргаритки, где трепетали, словно привязанные к невидимым нитям, фантастические желтые бабочки? И не было уже более того пьянящего воздуха, полного жизни, ароматов, оплодотворяющих сил.

Аллеи, размякшие от постоянных осенних дождей, покрытые толстым ковром опавших листьев, тянулись под тощими, озябшими и почти обнаженными тополями. Тонкие ветви дрожали под ветром, и на них трепетали последние листья, ежеминутно готовые сорваться и улететь куда-то. И эти последние листья, теперь уже совсем желтые, похожие на пластинки золота, весь день беспрестанно отрывались, кружились, летели по ветру и падали, подобно непрерывному дождю, такому унылому, что хотелось плакать.

Она дошла до роши. Роша была печальна, как комната умирающего. Зеленые стены, которые разделяли и укрывали прелестные извилистые аллеи, разлетелись. Перепутанные кустарники, похожие на тонкое деревянное кружево, цеплялись друг за друга тощими веточками; шелест сухих, опадающих листьев, которые ветер кружил, гнал и сбивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом.

Птички прыгали с места на место в поисках убежища, издавая слабый, зябкий писк.

Только платан и липа, защищенные от морского ветра густой завесой вязов, стоящих впереди них, сохраняли еще свой летний убор и казались одетыми – один в красный бархат, другая в оранжевый шелк – так окрасили эти деревья первые холода, соответственно их природе.

Жанна медленно ходила взад и вперед по мамочкиной аллее вдоль фермы Кульяров. Что-то тяготило ее, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь.

Затем она села на откос, где Жюльен в первый раз признался ей в любви; она сидела как в забытьи, почти ни о чем не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня.

Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом; ей вспомнился орел, которого она видела там, на Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее вздрогнуло, как от воспоминания о чем-то прекрасном и миновавшем, и она вдруг снова увидела сверкающий остров, напоенный диким ароматом, его солнце, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розоватыми вершинами, его лазоревые заливы и лощины, по которым катятся потоки.

Тогда окружавший ее сырой и угрюмый пейзаж, заунывный шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такою глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться.

Мамочка дремала, сидя неподвижно у камина, привыкнув к тоскливости таких дней и перестав ее ощущать. Отец и Жюльен, увлекшись разговором о своих делах, пошли прогуляться. Наступила ночь, разливая хмурый мрак в обширной гостиной, освещенной только отблесками вспыхивавшего огня.

На дворе, за окнами, в свете угасавшего дня еще можно было различать грязную осеннюю природу и сероватое небо, тоже словно вымазанное грязью.

Скоро явился барон в сопровождении Жюльена; войдя в полутемную комнату, он позвонил и закричал:

– Скорей, скорей огня! Здесь так уныло.

Он уселся перед камином. Пока его мокрая обувь дымилась у огня и высыхавшая грязь отваливалась от подошв, он весело потирал руки.

– Мне кажется, – говорил он, – что будет мороз; небо на севере проясняется; сегодня полнолуние; основательно подморозит этой ночью!

Затем он повернулся к дочери:

– Ну что, малютка, довольна ли ты, что вернулась на родину, домой, к старикам?

Этот простой вопрос страшно взволновал Жанну. Глаза ее наполнились слезами; она бросилась в объятия отца и порывисто поцеловала его, словно прося у него прощения, потому что, несмотря на все усилия быть веселой, чувствовала себя невыразимо грустной. Она думала о том, с какой радостью ждала свидания с родителями, и удивлялась холодности, сковывавшей теперь всю ее нежность; так, если думаешь слишком много о любимых людях вдали от них и теряешь привычку видеть их ежечасно, то при встрече с ними чувствуешь отчужденность до тех самых пор, пока узы совместной жизни не закрепятся снова.

Обед тянулся долго, почти в полном молчании. Жюльен, казалось, позабыл о жене.

Затем она подремала в гостиной перед камином, против мамочки, которая уже совсем спала. Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, неужели и ее захватит эта мрачная, ничем не прерываемая летаргия обыденности.

Пламя камина, слабое и красноватое днем, теперь, потрескивая, пылало ясным, живым огнем. Оно бросало яркие полыхающие отблески на полинявшую обивку кресел, на Лисицу и Аиста, на меланхолическую Цаплю, на Кузнечика и Муравья.

Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням.

– Ах, хорошо горит сегодня. Морозит, дети, морозит! – Он положил руку на плечо Жанне и, указывая на огонь, промолвил: – Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете, – это очаг, очаг и кругом него близкие. С этим ничто не сравнится. Но не пора ли спать? Вы, должно быть, утомились, дети?

Придя в свою комнату, молодая женщина задала себе вопрос: каким образом два ее возвращения в столь любимые ею места могли быть до такой степени различны? Почему она чувствует себя совершенно разбитой, почему этот дом, этот милый родной край, все, от чего до сих пор волновалось ее сердце, кажется ей сегодня таким убийственно скучным?

Но вот ее взгляд упал на часы. Крохотная пчелка все еще порхала слева направо и справа налево тем же быстрым и непрерывным движением над позолоченными цветами. И Жанну охватил внезапный порыв нежности; она растрогалась до слез при виде этого маленького механизма, казавшегося живым, отбивавшим время и трепетавшим, как грудь.

Конечно, она далеко не так была растрогана, когда обнимала отца с матерью. У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку.

В первый раз за время замужества она была одна в постели. Жюльен под предлогом усталости занял другую комнату. Впрочем, было решено, что у каждого из них будет своя комната.

Она долго не могла уснуть, удивляясь, что не чувствует около себя другого тела, отвыкнув засыпать в одиночестве, растревоженная порывистым северным ветром, злобно бушевавшим на крыше.

Утром ее разбудил яркий свет, который, словно кровью, окрасил ее кровать; стекла, разрисованные инеем, были красны, точно оттого, что пылал весь горизонт.

Набросив на себя широкий пеньюар, она подбежала к окну и открыла его.

Ледяной ветер, свежий и возбуждающий, ворвался в комнату и обжег ее острым холодом, вызвавшим на глаза слезы; посередине пурпурового неба из-за деревьев выглядывало огромное солнце, багровое и раздутое, как лицо пьяницы. Земля, покрытая белой изморозью, твердая и теперь подсохшая, гулко звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви тополей, еще сохранявшие листья, оголились, а за ландой виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещренная белыми полосами.

Платан и липа быстро обнажились под порывами ветра. Всякий раз как подымался леденящий вихрь, целые тучи листьев опадали от внезапного мороза, разлетаясь по ветру, словно стаи птиц. Жанна оделась, вышла и, чтоб хоть чем-нибудь заняться, отправилась навестить фермеров.

Мартены всплеснули руками, и хозяйка расцеловала ее в обе щеки; затем ее заставили выпить рюмочку настойки. И она пошла на другую ферму. Кульяры всплеснули руками, хозяйка клюнула ее в оба уха, и ей пришлось проглотить рюмочку черносмородиновой.

Она вернулась домой к завтраку.

И день прошел совершенно так же, как вчерашний, только он был холодный, а не серый. И остальные дни недели были похожи на эти два дня, и все недели месяца походило на первую неделю.

Мало-помалу, однако, ее тоска по далеким странам ослабела. Привычка наложила на ее жизнь отпечаток покорности, подобно тому, как

некоторые воды отлагают на предметы слой извести. И в ее сердце снова поднялось нечто вроде интереса к тысяче незначительных мелочей обыденной жизни, забота о простых, обыкновенных, повседневных занятиях. Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смутным разочарованием жизнью. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Ее не томила жажда светской жизни; у нее не было потребности удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям; да каковы они, впрочем? Подобно старым креслам гостиной, полинявшим от времени, все понемногу обесцвечивалось в ее глазах, все стиралось, все принимало бледный и тусклый оттенок.

Ее отношения с Жюльеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения из свадебного путешествия, словно актер, который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на нее внимания и даже почти не говорил с нею; всякий след его любви к ней внезапно исчез, и редки были те ночи, когда он входил в ее спальню.

Он взял на себя правление имением и домом, проверял счета, донимал крестьян, сокращал расходы и, приобретая манеры дворянина-фермера, совершенно утратил лоск и изящество времен жениховства.

Он не вылезал больше из старой охотничьей бархатной куртки с медными пуговицами, отысканной им среди своего холостяцкого платья, хотя она и была вся в пятнах; с небрежностью человека, которому не нужно больше нравиться, он перестал даже бриться; отросшая, плохо подстриженная борода невероятно его безобразила. Он не заботился больше о своих руках, а после каждой еды выпивал по четыре, по пять рюмок коньяку.

Жанна пробовала было сделать ему несколько нежных упреков, но он резко ответил ей: «Оставишь ты меня в покое или нет?» – и она не рискнула больше что-либо ему советовать.

Ее удивило то, как она сама отнеслась к происшедшей перемене. Он стал ей чужим, и путь к его душе и сердцу для нее закрылся. Она часто думала об этом, спрашивая себя, как могло случиться, что после того, как они встретились, полюбили друг друга и женились в порыве страсти, они вдруг оказались совсем чуждыми друг другу, словно никогда не спали рядом.

И почему она не так уж остро страдает от того, что покинута? Или такова жизнь? Или они ошиблись?

Неужели же ей нечего больше ждать от будущего?

Останься Жюльен по-прежнему красивым, изящно одетым, элегантным и обольстительным, быть может, она страдала бы сильнее?

Было решено, что после Нового года новобрачные останутся одни, а отец с мамочкой проведут несколько месяцев в своем доме в Руане. В эту зиму молодожены не должны покидать «Тополей», чтоб окончательно устроиться тут, привыкнуть и приспособиться к тем местам, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, у них было несколько соседей, которым Жюльен собирался представить жену. Это были Бризвили, Кутелье и Фурвили.

Молодые люди еще не могли начать визитов, потому что до сих пор никак не удавалось залучить живописца, который бы переменял гербы на карете.

Дело в том, что барон уступил зятю старый семейный экипаж, но Жюльен ни за что на свете не согласился бы показаться в соседних замках, пока герб Лямаров не соединен с гербом Ле Пертюи де Во.

Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений: то был живописец из Больбека по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения дверец экипажей драгоценными орнаментами.

Наконец в одно декабрьское утро, после завтрака, увидели какого-то человека, который отворил калитку и пошел по дорожке направо. За спиной у него был ящик. Это был Батайль.

Его провели в зал и подали ему закусить как человеку своего круга, потому что его специальность, его непрерывные сношения с аристократией всего департамента, его основательное знание гербов, сакраментальной терминологии и всех эмблем делало из него нечто вроде ходячей геральдики, и дворяне подавали ему руку.

Было тотчас же приказано принести карандаш и бумагу, и, пока он ел, барон и Жюльен сделали наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части. Баронесса, встрепенувшаяся, как случалось с ней всякий раз, когда речь заходила об этих предметах, высказывала свое мнение, и сама Жанна приняла участие в споре, словно в ней внезапно проснулся какой-то непонятный интерес.

Завтракая, Батайль высказывал свою точку зрения, брал иногда карандаш, набрасывал проекты, приводил примеры, описывал все дворянские кареты в округе; казалось, он принес с собой в своей манере рассуждать и даже в тембре голоса что-то от аристократизма.

То был маленький человек с седыми, коротко остриженными волосами; его руки были перепачканы краской, и от него пахло политурой. Поговаривали, что в прошлом у него была какая-то неблагоприятная история; но уважение, которым он пользовался в среде всех титулованных семейств, давно уже смыло с него это пятно.

Как только он допил кофе, его повели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый чехол. Батайль осмотрел ее и авторитетно высказался по поводу размеров, которые он считал необходимым придать рисунку; после обмена мнениями он приступил к работе.

Несмотря на холод, баронесса приказала принести себе кресло, чтобы наблюдать за работой; затем она потребовала грелку для зябнувших ног и тогда принялась спокойно болтать с живописцем, расспрашивая его о свадьбах, которые были еще не известны ей, о смертях и рождениях последнего времени, пополняя благодаря его сообщениям сведения по родословным, которые она хранила в своей памяти.

Жюльен сидел тут же, верхом на стуле, возле тещи. Он курил трубку, сплевывал на пол, слушал и внимательно следил за тем, как расписывали красками знаки его дворянского достоинства.

Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся на огород с заступом на плече, остановился взглянуть на работу; затем слух о прибытии Батайля проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Став по сторонам кресла баронессы, они восторгались, повторяя:

– Какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки!

Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к одиннадцати часам. Все тотчас же собрались, и кареты выкатили на двор, чтобы удобнее было судить.

Это было великолепно. Батайля осыпали похвалами, и он ушел со своим ящиком за спиной. Барон, его жена, Жанна и Жюльен единодушно решили, что живописец – человек с большими дарованиями и, если бы позволили обстоятельства, из него, без сомнения, вышел бы настоящий художник.

В видах экономии Жюльеном были проведены некоторые реформы, которые, в свою очередь, потребовали новых перемен.

Старик кучер был превращен в садовника, править же отныне взялся сам виконт, решив продать выездных лошадей во избежание расходов на корм.

Но так как нужно же было кому-нибудь присматривать за лошадьми, когда господа выйдут из экипажа, то на должность лакея Жюльен определил пастушонка по имени Мариюс.

Наконец, чтобы обеспечить себя лошадьми, он ввел в арендный договор с Кульярами и Мартенами специальную статью, обязывавшую каждого из фермеров раз в месяц, в установленные Жюльеном числа, приводить ему по одной лошади; вместо этого они освобождались от обязанности доставлять живность.

И вот однажды Кульяры привели большую рыжую клячу, а Мартены – маленькую белую лохматую лошадку; лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариюс, утопая в старой ливрее дядюшки Симона, подвел к крыльцу замка этот выезд.

Жюльен, почистившийся, стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество; но длинная борода все же придавала ему вульгарный вид.

Он окинул взглядом упряжь, карету, маленького лакея и нашел все удовлетворительным, потому что для него имели значение только заново нарисованные гербы.

Баронесса вышла из комнаты под руку с мужем; она с трудом влезла в экипаж и уселась, откинувшись на подушки. Появилась и Жанна. Сначала ее рассмешило сочетание лошадей; по ее словам, белая приходилась внучкой рыжей. Когда же она заметила Мариюса, лицо которого было погребено под шляпой с кокардой, так что только нос мешал ей спуститься ниже; когда она увидела, как его руки исчезают в глубине рукавов, а вокруг ног болтаются наподобие юбки фалды ливреи и из-под этих фалд внизу причудливо торчат огромные башмаки; когда она увидела, как мальчик запрокидывает голову, чтобы что-либо видеть, как он на каждом шагу поднимает ноги, словно собираясь перешагнуть через ручей, как он суетится, точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки пропадая, совсем исчезая в необъятности своих одежд, – ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца.

Барон обернулся, посмотрел на ошеломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова:

– По... по... смотри на Ма... Ма... Мариюса! Какой он смешной! Боже, какой смешной!

Тогда и баронесса нагнулась к дверце, взглянула на Мариюса, и ею овладел такой приступ веселости, что вся карета заплясала на рессорах, точно от сильной тряски.

Но Жюльен, побледнев, спросил:

– Что же тут смешного? Да вы с ума сошли!

Жанна, испытывая судороги от смеха, не в силах успокоиться, опустилась, совсем ослабев, на ступеньку крыльца. Барон последовал ее примеру, а из кареты неслось судорожное чиханье, что-то вроде непрерывного клохтанья, свидетельствовавшего о том, что баронесса задыхается. И вдруг ливрея Мариюса также затрепетала. Он, очевидно, понял, в чем дело, и сам хохотал изо всей мочи под своей огромной шляпой.

Вне себя, Жюльен бросился вперед. Пощечиной он сбил с головы мальчика гигантскую шляпу, которая покатила по траве, а затем, обернувшись к тестю, дрожащим от гнева голосом процедил:

– Мне кажется, не вам бы смеяться. Мы не были бы в таком положении, если бы вы не промотали состояния и не проели своего имущества. Кто виноват, что вы разорены?

Вся веселость сразу исчезла, точно всех сковало льдом. Никто не проронил ни слова. Жанна, готовая теперь расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, пораженный и безгласный, уселся против двух дам, а Жюльен расположился на козлах, втащив за собою заплаканного ребенка с опухшей щекой.

Дорога была невесела и показалась длинной. В карете молчали. Мрачные и смущенные, все трое не хотели признаться в том, что их занимало. Они чувствовали, что не могут говорить ни о чем другом, настолько завладела ими эта мучительная мысль, и они предпочитали печально молчать, чем затронуть тягостную тему.

Лошади бежали неровною рысью, и карета катила вдоль дворов ферм, нагоняя страх на черных кур, которые улепетывали со всех ног, ныряя и прячась за изгороди; иногда за каретой с лаем неслись волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался еще раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень в забрызганных грязью сабо, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синей блузы, надувавшейся у него на спине от ветра, сторонился, чтобы пропустить экипаж, и нескладно стаскивал картуз, обнажая прямые, слипшиеся на лбу волосы.

В промежутках между фермами тянулась равнина, на которой там и сям вдали мелькали другие фермы. Наконец въехали в широкую еловую аллею, примыкавшую к дороге. В глубоких грязных выбоинах карета накренилась, и мамочка каждый раз вскрикивала от испуга. В конце аллеи белые ворота оказались закрытыми, и Мариус побежал отворять их; пришлось обогнуть широкую лужайку по дороге, чтобы подъехать к высокому, большому и унылому зданию, ставни которого были заперты.

Средняя дверь внезапно отворилась, и престарелый, параличный слуга в красном жилете с черными полосками, часть которого прикрывал фартук, сошел по ступенькам крыльца мелкими неровными шагами. Он спросил фамилии гостей и ввел их в просторную гостиную, с трудом отворив ставни, остававшиеся постоянно закрытыми. Мебель стояла в чехлах, часы и канделябры были затянуты белым холстом, а затхлый воздух былых времен, холодный и сырой, казалось, пропитывал печалью и легкие, и сердце, и кожу.

Все уселись и стали ждать. Шаги, раздавшиеся по коридору наверху, свидетельствовали о необычайной суете. Обитатели замка, застигнутые врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик. Кто-то сновал вверх и вниз по лестнице.

Баронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жюльен расхаживал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью. А барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял опустив голову.

Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и появились виконт и виконтесса де Бризвили. Они шествовали подпрыгивающей походкой, маленькие, худенькие, неопределенных лет, церемонные и несколько смущенные. Жена была в шелковом платье с разводами, в черном вдовьем чепце из лент; говорила она очень быстро, кислотатым голосом.

Ее муж, облаченный в парадный сюртук, кланялся, сгибаясь в коленях. Его нос, глаза, торчащие зубы, его волосы, словно навощенные, и великолепный торжественный костюм блестели, как блестят вещи, о которых очень заботятся.

После первых приветствий и обычных соседских любезностей никто уже не знал, о чем говорить. С обеих сторон без всякой причины начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывалась уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь. Когда живешь круглый год в деревне, так отрадно видеться друг с другом!

Но леденящая атмосфера гостиной пронизывала до мозга костей и вызывала хрипоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая в то же время и чихать.

Тогда барон подал знак к отъезду. Бризвили стали удерживать:

– Как? Так скоро? Оставайтесь же еще хоть немножко!

Жанна поднялась, несмотря на знаки Жюльена, который находил визит слишком коротким.

Хотели позвонить лакею, чтобы подали карету. Звонок не действовал. Хозяин дома поспешно вышел и, вернувшись, сообщил, что лошадей поставили на конюшню.

Пришлось ждать. Каждый старался подыскать подходящие слова и фразы. Заговорили о дождливой зиме. С невольной дрожью Жанна спросила, что делают хозяева одни весь год. Но Бризвили удивились ее вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множества писем – своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысяче других микроскопических занятий, причем они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом, точно с посторонними, и предавались напыщенным разговорам по поводу самых незначительных вещей.

Под высоким почерневшим потолком огромной необитаемой гостиной, где все стояло в чехлах, эти супруги, такие маленькие, чистенькие и приличные, показались Жанне мумифицированным дворянством.

Наконец карета с разномастными лошадьми проехала под окнами. Но Мариус исчез. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, отправился прогуляться по деревне.

Взбешенный Жюльен попросил, чтобы его отослали домой пешком. И после прощальных пожеланий с обеих сторон они отправились обратно в «Тополя».

Едва захлопнулись дверцы кареты, Жанна и отец, несмотря на гнетущую тяжесть, вызванную грубостью Жюльена, принялись смеяться, передразнивая жесты и интонации Бризвилей. Барон изображал мужа, Жанна представляла жену, но баронесса, немного задетая в своих аристократических симпатиях, заметила:

– Напрасно вы смеетесь над ними, это очень почтенные люди, принадлежащие к лучшим семьям.

Они умолкли, чтобы не прекословить мамочке, но время от времени, несмотря ни на что, возобновляли игру, переглядываясь. Барон кланялся церемонно и произносил торжественным тоном:

– В вашем замке в «Тополях», мадам, должно быть, очень холодно по причине сильного ветра, который ежедневно дует с моря?

Жанна принимала обиженный вид, жеманилась и слегка подергивала головой, точно плавающая утка:

– О, мосье, у меня здесь столько занятий круглый год. Затем, у нас так много родственников, которым надо писать. К тому же господин де Бризвиль все дела предоставил мне. Он занят с аббатом Пелль научными исследованиями. Они пишут вместе историю религии в Нормандии.

Баронесса против воли добродушно улыбалась, но повторяла:

– Нехорошо так высмеивать людей нашего круга.

Вдруг карета остановилась, и Жюльен кому-то закричал, обернувшись назад. Жанна и барон, наклонившись к дверцам, заметили странное существо, которое словно катилось в их сторону. Путаясь ногами в широких фалдах ливреи, плохо видя из-за огромной шляпы, постоянно надвигающейся на глаза, размахивая руками, словно мельничными крыльями, шлепая сломя голову по глубоким лужам, спотыкаясь о каждый камень на дороге, торопясь и подпрыгивая, Мариюс, весь облепленный грязью, запыхавшись, бежал за каретой.

Как только он добежал до них, Жюльен, нагнувшись, схватил его за шиворот, притянул к себе и, выпустив вожжи, принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившейся до самых его плеч и звучащей, как барабан. Мальчуган вопил внутри нее, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другою наносил удары.

Жанна, растерянная, лепетала:

– Папа... О! Папа!..

Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа:

– Но останови же его, Жак!

Тогда барон порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив зятя за рукав, крикнул дрожащим голосом:

– Скоро вы перестанете бить ребенка?

Жюльен, ошеломленный, обернулся:

– Разве вы не видите, во что превратил этот негодяй свою ливрею?

Но барон, высунутая голова которого приходилась как раз между ними, настаивал:

– Все равно, нельзя быть таким жестоким.

Жюльен снова рассердился:

– Оставьте меня, пожалуйста, в покое, это вас не касается!

И он снова занес руку, но тесть, схватив ее, дернул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась о деревянные козлы; затем барон крикнул в бешенстве:

– Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!

Виконт сразу притих, ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали крупной рысью.

Женщины, мертвенно-бледные, не двигались; можно было ясно слышать тяжелое биение сердца баронессы.

За обедом Жюльен был любезнее обычного, словно ничего и не случилось. Жанна, ее отец и г-жа Аделаида, быстро прощавшие благодаря своей обычной безмятежной благожелательности, были тронуты его предупредительностью и охотно поддавались веселью с радостным чувством выздоравливающих, а когда Жанна завела речь о Бризвильях, муж тоже принял участие в шутке, но тут же прибавил:

– Как-никак у них манеры настоящих аристократов.

Других визитов не делали, потому что каждый боялся коснуться вопроса о Мариюсе. Было только решено послать соседям в Новый год визитные карточки, а с визитами подождать до первых теплых весенних дней.

Настало рождество. На обеде присутствовали кюре и мэр с женой. Их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушившие однообразное чередование дней.

Отец с мамочкой должны были покинуть «Тополя» девятого января. Жанна хотела их удержать, но Жюльен не очень настаивал на этом, и барон, чувствуя возраставшую холодность зятя, велел выписать из Руана почтовую карету.

Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днем и отправиться в Ипор, где она не была после своего возвращения с Корсики.

Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь душой с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь, лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладострастную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Ота, вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи.

Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений; слышались только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимой по обнаженной поросли.

Они вошли в деревушку. В пустых и безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмоленные длинные сети, развешанные у дверей или же растянутые на валунах, все так же сушились. Холодное серое море с его вечной рокочущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны Фекана зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега. А вдоль побережья лежали, поваленные набок, большие лодки, казавшиеся огромными уснувшими рыбами. Приближался вечер, и рыбаки, с шерстяными шарфами на шее, группами сходились к берегу, тяжело ступая огромными морскими сапогами, держа литр водки в одной руке и лодочный фонарь в другой. Они долго возились около лодок, укладывая с нормандской медлительностью сети и снасти, краюхи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку. Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она с шумом скатывалась по гальке, рассекала пену, поднималась на волнах, покачивалась несколько мгновений, раскрывала свои темные крылья и исчезала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты.

Рослые худые рыбаки, кости которых выступали под тонкими платьями, стояли на берегу до ухода последнего рыбака и затем возвращались в уснувшую деревню, нарушая крикливыми голосами тяжелый сон темных улиц.

Барон и Жанна неподвижно следили за исчезновением в ночной тьме этих людей, которые уходили так каждую ночь, рискуя жизнью, чтобы только не подохнуть с голоду, и все же оставались столь бедными, что никогда не ели мяса.

Барон, восхищенный океаном, воскликнул:

– Это страшно и прекрасно. Как величественно это окутанное сумраком море, на котором столько жизней подвергаются смертельной опасности! Не правда ли, Жанетта?

Жанна ответила с застывшей улыбкой:

– Ему далеко до Средиземного моря!

Отец возмутился:

– Средиземное море! Какое-то прованское масло, подслащенная водица, синеватая вода в лоханке. Посмотри на это море, до чего оно грозно, все покрытое пенными гребнями! И подумай обо всех этих ушедших людях, которых уже и не видно.

Жанна со вздохом согласилась:

– Пожалуй, ты прав.

Но от слов «Средиземное море», слетевших с ее губ, ее сердце снова сжалось, и все мысли ее снова устремились к далеким странам, где остались ее мечты.

Вместо того чтобы возвращаться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и медленно стали подниматься вдоль берега. Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали.

Когда они порою проходили мимо ферм, им ударял в лицо то запах растертых яблок – аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах стойла, приятный и теплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошечко в глубине двора указывало на жилище.

И Жанне казалось, что душа ее словно ширится и начинает постигать невидимое, а эти рассеянные среди полей огоньки вдруг вызвали в ней острое ощущение одиночества всех живых существ, которых все разъединяет, все разлучает, все уносит далеко от тех, кого они хотели бы любить.

И покорным голосом она сказала:

– Не всегда-то весела жизнь.

Барон вздохнул:

– Что делать, деточка; это зависит не от нас.

На следующий день отец с мамочкой уехали; Жанна и Жюльен остались одни.

С этих пор обычным занятием молодых людей стали карты. Каждый день после завтрака Жюльен принимался играть с женой в безик, покуривая трубку и потягивая коньяк, которого он выпивал по шесть – восемь рюмок в день. Затем Жанна уходила в свою комнату, садилась у окна и, пока в стекла стучал дождь или ветер, старательно вышивала отделку к юбке. Иногда, утомившись, она поднимала глаза и всматривалась в даль, в темное море, покрытое барашками. После нескольких минут этого рассеянного созерцания она снова принималась за работу.

Впрочем, ей больше нечего было делать, потому что Жюльен взял на себя все управление домом, дабы полнее удовлетворить свою жажду власти и страсть к бережливости. Действительно, он проявлял дикую скупость, никогда не давал на чай и свел расходы по столу к самому необходимому. Со времени своего приезда в «Тополя» Жанна каждое утро заказывала булочнику маленькую нормандскую лепешку; он сократил и этот расход, осудив ее на один поджаренный хлеб.

Она не говорила мужу ни слова во избежание объяснений, споров и ссор, но страдала от каждого нового проявления его скупости, как от укола иглы. Это казалось низким и мерзким ей, воспитанной в семье, где деньги считались ни во что. Как часто ей приходилось слышать от мамочки: «Ведь деньги для того и существуют, чтоб их тратить!». Жюльен же только и твердил: «Ты никогда, кажется, не отвыкнешь швырять деньги на ветер!» И всякий раз, когда ему удавалось урезать несколько су на жалованье или поданном счете, он произносил с улыбкой, опуская монету в карман:

– Из ручейков образуются реки.

Но в иные дни Жанна вновь принималась мечтать. Она тихо выпускала работу из ослабевших рук, взор ее угасал, и она снова начинала сочинять романы, как в дни девичества, когда она уносила в мир чарующих приключений. Однако голос Жюльена, отдававшего приказание дяде Симону, внезапно отрывал ее от этих баюкающих грез, и она снова бралась за бесконечную работу, говоря про себя: «Со всем этим кончено навсегда», и слеза падала на пальцы, державшие иглу.

Розали, прежде такая веселая и всегда что-нибудь напевавшая, также изменилась. Ее круглые щеки потеряли яркий румянец, осунулись и принимали порой землистый оттенок.

Жанна нередко спрашивала ее:

– Ты не больна ли, милая?

Горничная отвечала всегда одно и то же:

– Нет, сударыня!

Слабый румянец вспыхивал на ее щеках, и она быстро исчезала.

Вместо того чтобы бегать, как бывало, она едва волочила ноги, утратила даже прежнюю кокетливость и ничего не покупала у проезжих торговцев, напрасно выкладывавших перед нею шелковые ленты, корсеты и различные парфюмерные товары.

И казалось, звенел пустотою весь этот громадный и мрачный дом, фасад которого дожди испещрили длинными серыми полосами.

В конце января выпал снег. Вдали показались огромные тучи, плывущие с севера над хмурым морем, и посыпались белые хлопья. За ночь вся равнина была погребена под ними, а деревья к утру покрылись инеем.

Жюльен, в высоких сапогах, весь всклокоченный, проводил время в глубине леса, спрятавшись во рву, выходившем к ланде, и подстерегая перелетных птиц. Время от времени ружейный выстрел разрывал ледяное молчание полей, и стаи вспугнутых черных ворон взлетали с высоких деревьев, кружась в воздухе.

Жанна, изнемогая от скуки, выходила иногда на крыльцо. Шумы жизни, отраженные сонным спокойствием бледного и унылого покрова снегов, издали доносились до нее.

Затем она уже переставала слышать что-либо, кроме рокота отдаленных волн и неясного несмолкавшего шороха непрерывно сыпавшейся ледяной пыли.

И снежный покров поднимался все выше и выше из-за этого бесконечно падавшего густого и легкого мха.

В одно такое тусклое утро Жанна сидела, грея ноги у камина, в своей комнате, пока Розали, с каждым днем все более и более менявшаяся, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услышала позади себя болезненный вздох. Не поворачивая головы, она спросила:

– Что с тобой?

Горничная, как всегда, отвечала:

– Ничего, сударыня.

Но голос ее казался надтреснутым, угасшим.

Жанна начала уже думать о чем-то другом, как вдруг заметила, что девушки больше не слышно в комнате.

Она позвала:

– Розали!

Девушка не откликнулась. Тогда, думая, что она незаметно вышла, Жанна крикнула громче:

– Розали!

Жанна уже хотела протянуть руку к звонку, когда глубокий стон, раздавшийся рядом с ней, заставил ее вскочить в испуге.

Служанка, мертвенно-бледная, с блуждающими глазами, сидела на полу, вытянув ноги и прислонясь к деревянной спинке кровати.

Жанна бросилась к ней:

– Что с тобой? Что с тобой?

Та не произнесла ни слова и не шевелилась; она устремила на госпожу безумный взгляд и задыхалась, словно ее раздирала нестерпимая боль. Затем, внезапно вытянувшись всем телом, она соскользнула на спину, стискивая зубы, чтобы заглушить мучительный крик.

Под платьем, облежавшим ее раздвинутые ляжки, вдруг что-то зашевелилось. И тотчас же оттуда послышался странный шум, какое-то клокотание, хрипение сдавленного горла, а затем внезапно раздалось протяжное кошачье мяуканье, слабая и уже скорбная жалоба, первый страдальческий крик ребенка, вступающего в жизнь.

Жанна вдруг все поняла и потеряв голову бросилась к лестнице, крича:

– Жюльен, Жюльен!

Он ответил снизу:

– Что тебе?

Она с трудом произнесла:

– Это... это Розали... Она...

Жюльен кинулся вверх, шагая через несколько ступенек, влетел в комнату, одним взмахом поднял платье девушки и обнаружил ужасный комочек мяса, сморщенный, пищащий, скрюченный и весь покрытый слизью, шевелившийся между ее обнаженными ногами.

Он выпрямился со злобным выражением лица и вытолкнул из комнаты растерявшуюся жену:

– Это тебя не касается. Уходи. Пошли ко мне Людивину и дядю Симона.

Жанна, дрожа всем телом, спустилась в кухню, а затем, не решаясь подняться к себе, вошла в гостиную, которую не отапливали с самого отъезда родителей, и тревожно стала ждать, что будет.

Скоро она увидела, что слуга торопливо выбежал из дому. Через пять минут он вернулся с местной повивальной бабкой, вдовой Дантю.

Затем на лестнице началось шумное движение, будто несли раненого, и Жюльен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе.

Она дрожала, словно ей пришлось присутствовать при каком-то ужасном несчастье. Она снова села у камина и спросила:

– Как она себя чувствует?

Жюльен, озабоченный, взволнованный, ходил по комнате взад и вперед; в нем, казалось, клокотал гнев. Сначала он ничего не ответил, но спустя несколько секунд произнес:

– Что ты намерена сделать с этой девушкой?

Она не поняла вопроса и смотрела на мужа:

– Как? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

И вдруг он закричал, выйдя из себя:

– Не можем же мы держать незаконного ребенка у себя в доме!

Жанна была крайне смущена; после продолжительного молчания она сказала:

– Но, мой друг, быть может, его можно отдать на воспитание?

Он перебил ее:

– А кто за это будет платить? Ты, конечно?

Она долго раздумывала еще, отыскивая выход, и наконец сказала:

– Но отец позаботится о нем, об этом ребенке, и, если он женится на Розали, все будет улажено.

Жюльен, видимо, теряя терпение, закричал в бешенстве:

– Отец!.. Отец!.. Знаешь ли ты его... отца-то?.. Нет? Не правда ли? Так что же тогда...

Жанна, взволнованная и растроганная, ответила:

– Но ведь он не оставит девушку в таком положении. Это будет подло! Мы узнаем его имя, разыщем его, и он должен будет объясниться.

Жюльен успокоился и снова зашагал по комнате.

– Дорогая моя, Розали не хочет назвать имени этого человека; она тебе не признается, как и мне... А если он ее больше не хочет? Но мы-то не можем оставить у себя в доме девушку с ее незаконным ребенком, понимаешь?

Жанна упрямо повторяла:

– Значит, этот человек – негодяй; но надо во что бы то ни стало узнать, кто он, и ему придется иметь дело с нами.

Жюльен, сильно покраснев, продолжал сердиться:

– Ну... а пока?..

Она не знала, что решить, и спросила:

– Что же ты предлагаешь?

Он тотчас же высказал свое мнение:

– По-моему, очень просто. Я дам ей немного денег и пусть убирается к черту вместе со своим мальчишкой.

Молодая женщина пришла в негодование и возмутилась:

– Ну, уж это никогда! Эта девушка – моя молочная сестра; мы выросли вместе. Она сделала ложный шаг, очень жаль; но за это я не выброшу ее на улицу, и если нужно, то даже воспитаю ее ребенка.

Тогда Жюльен вспылил:

– Хороша же будет репутация у нас, с нашим именем и с нашими связями! Всюду будут говорить, что мы покровительствуем разврату, что мы даем приют потаскушкам; порядочные люди к нам ногой не ступят! О чем ты, в самом деле, думаешь? Ты просто сумасшедшая!

Она спокойно возражала:

– Я ни за что не позволю выбросить Розали на улицу; и если ты не хочешь оставить ее у нас, моя мать возьмет ее к себе; нам же надо во что бы то ни стало узнать об отце ее ребенка.

Тогда он, вне себя от гнева, вышел, хлопнув дверью и крикнув:

– До чего глупы женщины со своими рассуждениями!

После полудня Жанна пошла к роженице. Под присмотром вдовы Дантю горничная неподвижно лежала на кровати, широко раскрыв глаза, а сиделка укачивала на руках новорожденного.

Едва Розали увидела свою госпожу, как принялась рыдать, пряча лицо в простыни, вся сотрясаясь от отчаяния. Жанна хотела поцеловать ее, но та сопротивлялась, закрывалась одеялом. Тогда вмешалась сиделка и открыла ей лицо; Розали подчинилась, продолжая плакать, но уже тише.

Слабый огонь тлел в камине; было холодно; ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя:

– Ну, ничего, ну, ничего.

Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок; по временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле.

Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо:

– Мы позаботимся о нем, дорогая.

Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти.

Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать.

Ребенка отдали по соседству кормилице.

Жюльен между тем едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтоб ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в «Тополях».

Жюльен в бешенстве крикнул:

– Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты.

Но больше он уже не настаивал.

Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу.

Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала:

– Слушай, милая, расскажи мне все.

Розали начала дрожать и пролепетала:

– Что, сударыня?

– От кого ребенок?

Тогда горничной снова овладело страшное отчаяние; она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо.

Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить:

– Это, конечно, несчастье, дорогая, но что же делать? Ты не устояла, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу.

Розали стонала, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать.

Жанна продолжала:

– Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь: я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага; ведь я чувствую по тому, как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жюльен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе; а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой.

На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи, и убежала как помешанная.

Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену:

– Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты; надо же принудить этого негодяя жениться на ней.

Но Жюльен сразу же вспылил:

– Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку, пусть так и будет; но не надоедай мне с этим делом.

Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее; он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича, точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий; лежа в постели по ночам она теперь нередко плакала.

Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтоб он не переступал порога супружеской спальни.

Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом.

Еще два раза убежала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее.

Жюльен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды; к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила.

Оттепели еще не было, и в продолжение почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней – до того морозно было все это огромное пространство, – расстилось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов.

Фермы, огороженные квадратными дворами, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимающимися прямо ввысь в морозном воздухе.

Равнина, изгороди, вязы у заборов – все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой; иногда отрывалась и падала толстая ветка: это от сильной стужи застывал древесный сок и разрывались волокна.

Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.

То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище; то ее пульс начинал безумно биться; то самое легкое кушанье вызывало у нее расстройство пищеварения; вдобавок из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном нестерпимом возбуждении.

Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, выходя из-за стола и дрожа (зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров), пробормотал, потирая руки:

– Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?

Он засмеялся своим прежним добрым, детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею; но именно в этот вечер ей было так не по себе, так нездоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании.

– Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо; завтра мне, наверно, будет лучше.

Он не настаивал:

– Как хочешь, дорогая: если ты больна, то надо поберечься.

И они заговорили о другом.

Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что «разгорелось хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.

Весь дом, казалось, был во власти холода: стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели.

Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платья, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть: ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробежала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени.

Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимало; замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готово было остановиться; она задыхалась, точно ей не хватало воздуха.

Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного; жизнь словно покидала ее; она готова была испустить последнее дыхание.

Она подумала: «Я умру... Умираю...»

Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леденея.

Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудишь, и Жанна теряя голову бросилась босиком на лестницу.

Она бесшумно, ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» – двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился.

Жанна подумала в удивлении: «Как! Она ушла из дому в такую погоду!»

Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жюльена; ноги отказывались ей служить.

Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание.

При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.

От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату; растерявшийся Жюльен позвал ее: «Жанна!» – и ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснения, его ложь, встретится с ним лицом к лицу; и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз.

Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть.

Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать.

Жюльен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него.

Он уже сходил с лестницы и кричал:

– Послушай, Жанна!

Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтоб он коснулся до нее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол. Но он уже отворил дверь, со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» – и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обежала ее два раза, словно загнанный зверь; и так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому.

Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета; она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле.

Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине.

Луны не было; звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр; но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной.

Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая. И вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки, без мысли, без воли.

В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом.

Она долго сидела так, застыв душою и телом; затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались; и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое.

Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого: прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лястика, их беседа, зарождение ее любви, крестины лодки; ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в «Тополя». А теперь! Теперь! О! Вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего; ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния, встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец.

Но вдали послышался голос:

– Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!

То был Жюльен, искавший ее.

О! Она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам.

Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное прощание, жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненных в битве:

– Мама!

Внезапно мысль о мамочке пронизала ее; она увидела ее рыдающей; увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния.

И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариюса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад; она была на самом краю обрыва.

Они делали с нею все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами; затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.

Потом ею овладел кошмар, но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапанья, какой-то шорох, и вдруг мышка, маленькая серая мышка, промчалась по ее простыне. За нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми мелкими шажками подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно; она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала.

Тогда другие мыши – десять, двадцать, сотни, тысячи – показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу; она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хоть одну, и каждый раз в руках ее ничего не было.

Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат; но она никого не видела.

У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.

Затем она очнулась; она очнулась усталая, разбитая и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и нисколько не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала.

Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и

никаких воспоминаний.

Толстяк сказал:

– Смотрите, сознание возвращается.

И мамочка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова:

– Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем. Пусть она спит.

Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон; но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании.

Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жюльена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое.

Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах.

Жюльен бросился к ней, и она стала кричать, чтоб он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежали тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная.

Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи.

Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали:

– Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?

Притворяясь, будто она не слышит, Жанна не отвечала; между тем она отлично сознавала, что день подходит к концу. Настала ночь. Около нее поместилась сиделка, время от времени подававшая ей пить.

Жанна пила, не говоря ни слова, но больше не спала; она мучительно думала, стараясь припомнить то, что от нее ускользнуло, словно у нее в памяти были провалы, большие белые, пустые места, на которых события не оставили следа.

Мало-помалу, после больших усилий, ей удалось восстановить все факты.

И она сосредоточенно и упорно стала обдумывать их.

Мамочка, тетя Лизон и барон приехали сюда; следовательно, она серьезно больна. Но Жюльен? Что сказал он? Знают ли ее родители? А Розали? Где она теперь? И что теперь делать, что делать? Ее осенила мысль – вернуться жить в Руан вместе с отцом и матерью, как раньше. Она будет вдовой – только и всего.

Затем она стала терпеливо и хитро выжидать, сознавая все, но не показывая и виду, радуясь возвращению рассудка.

Наконец как-то вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько позвала ее:

– Мамочка!

Собственный голос удивил ее, показался ей изменившимся.

Баронесса схватила ее за руку:

– Девочка моя, дорогая моя, девочка моя, ты узнаешь меня?

– Да, мамочка, только не надо плакать; нам надо о многом поговорить. Сказал тебе Жюльен, почему я в ту ночь убежала по снегу?

– Да, моя крошка, ты схватила сильную и очень опасную горячку.

– Это не так, мама. Горячка сделалась потом; но сказал ли он тебе, что было причиной этой горячки и почему я убежала?

– Нет, дорогая.

– Это случилось потому, что я застала Розали в его постели.

Баронесса подумала, что она опять бредит, и стала ее ласкать:

– Усни, моя крошка, успокойся, постарайся уснуть.

Но Жанна упорно возражала:

– Я теперь в полном сознании, мамочка, и уже не заговариваюсь, как было, вероятно, в последние дни. Раз ночью я почувствовала себя очень плохо и пошла за Жюльеном. Розали спала вместе с ним. Я потеряла голову от отчаяния и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва.

Но баронесса повторяла:

– Да, моя крошка, ты была очень, очень больна.

– Это не так, мама. Я застала Розали в постели Жюльена и не хочу больше оставаться с ним. Увези меня с собой в Руан, как прежде.

Баронесса, которой доктор велел ни в чем не противоречить больной, ответила:

– Хорошо, моя крошка.

Но больная начала раздражаться:

– Я вижу, что ты мне не веришь. Поди позови папочку, он скорей поймет меня.

Мамочка поднялась с трудом, взяла обе свои палки и вышла, волоча ноги; несколько минут спустя она вернулась в сопровождении барона, который ее поддерживал.

Они сели у постели, и Жанна тотчас заговорила. Она не спеша, тихим голосом, но очень отчетливо рассказала обо всем: о странном характере Жюльена, о его грубых выходках, о скарденности и, наконец, о его измене.

Когда Жанна кончила, барон убедился, что она не бредит, но не знал, что подумать, на что решиться и что ответить.

Он нежно взял ее за руки, как бывало в старые годы, когда он убаюкивал ее сказками:

– Слушай, дорогая, надо действовать осмотрительно. Не будем торопиться; постарайся терпеть мужа, пока мы не придем к какому-либо решению... Обещаешь мне это?

Она прошептала:

– Я постараюсь, но не останусь здесь после того, как выздоровлю. – Затем чуть слышно прибавила: – Где теперь Розали?

Барон отвечал:

– Ты не увидишь ее больше.

Но она настаивала:

– А где она? Я хочу знать.

Тогда барон сознался, что она еще здесь; но он заверил, что она скоро уедет.

Выйдя из комнаты больной, барон, пылая гневом, оскорбленный в своих отеческих чувствах, отправился к Жюльену и резко заявил ему:

– Сударь, я требую от вас отчета в вашем поведении относительно моей дочери. Вы изменяли ей с горничной; это вдвойне бесчестно.

Жюльен разыграл невинность, горячо отрицал, клялся, призывал бога в свидетели. Да и какие наконец имеются доказательства? Ведь Жанна была в состоянии помешательства. Ведь у нее была горячка. Ведь в ту ночь, когда началась ее болезнь, она бегала по снегу в приступе безумия. Во время этого-то приступа, когда она, почти голая, бегала по дому, ей и показалось, что она видит свою горничную в постели мужа!

Он горячился, грозил процессом, страшно негодовал. А сконфуженный барон извинялся, просил прощения и протянул ему свою честную руку, которую Жюльен отказался пожать.

Когда Жанна узнала об ответе мужа, она несколько не рассердилась и ответила:

– Он лжет, папа, но мы заставим его сознаться.

Два дня она была молчалива, сосредоточенна и задумчива.

На третий день утром она захотела увидеть Розали.

Барон отказался позвать к ней служанку, заявив, что она уехала. Жанна настаивала, твердя:

– Так пусть за ней пошлют.

Она начала уже раздражаться, когда вошел доктор. Ему сообщили все, чтобы он мог высказать свое суждение. Но Жанна вдруг начала плакать, страшно нервничая, почти крича:

– Я хочу видеть Розали! Хочу ее видеть!

Тогда доктор взял ее за руку и, понизив голос, сказал:

– Успокойтесь, сударыня: всякое волнение для вас опасно, потому что вы беременны.

Она смолкла, словно сраженная ударом, и ей тотчас же показалось, что в ней что-то шевелится. Затем она погрузилась в молчание, перестав даже слушать, что говорили вокруг нее, углубившись в свои мысли. Ночью она не могла заснуть, всецело поглощенная новой и странной мыслью, что в ней, в ее чреве, живет ребенок; она была грустна, удручена тем, что это ребенок Жюльена, полна беспокойства и боязни, что он будет походить на отца. С наступлением утра она велела позвать барона.

– Папочка, мое решение принято окончательно; я хочу знать все, и особенно теперь; слышишь – хочу, а ты знаешь, что меня в моем положении не следует раздражать. Слушай же внимательно. Пригласи к нам господина кюре. Он мне необходим, чтобы помешать Розали лгать. Как только он придет, позови сюда Розали и сам с мамочкой тоже останься здесь. Постарайся только, чтоб Жюльен ничего не заподозрил.

Час спустя в комнату вошел священник, еще больше разжиревший и задыхающийся так же, как мамочка. Он уселся рядом с нею в кресло, свесив живот меж раздвинутых ног, и начал шутить, ежеминутно по привычке отирая лоб клетчатым платком:

– Ну, баронесса, мы с вами, кажется, не худеем; по-моему, мы под стать друг другу. – И он повернулся к постели больной: – Хе-хе! Что это мне говорят, будто у нас скоро опять крестины? Ха-ха-ха! И уж не лодку будем крестить на этот раз. – Потом он прибавил серьезным тоном: – То будет, наверно, защитник отечества. – Помолчав немного, он присовокупил: – Или же это будет добрая мать семейства. – И поклонился в сторону баронессы: – Как вы, сударыня.

Дверь в глубине комнаты отворилась. Розали, растерянная, в слезах, подталкиваемая сзади бароном, упиралась, цепляясь за притолоку. Потеряв терпение, барон одним толчком впихнул ее в комнату. Но она закрыла лицо руками и остановилась рыдая.

Едва увидев ее, Жанна выпрямилась и села на постели, побелев как простыня; обезумевшее сердце вздымало своими ударами тонкую рубашку, облегающую ее тело. Она не могла говорить, задыхалась, едва переводила дух. Наконец прерывающимся от волнения голосом она произнесла:

– Мне... мне... не нужно... расспрашивать тебя. Мне... мне... достаточно взглянуть на тебя... чтоб увидеть... как тебе стыдно передо мною. – После некоторой паузы, так как ей не хватало воздуха, она продолжала: – Но я хочу знать все... все. Я пригласила господина кюре, чтобы это было как на исповеди, слышишь?

Розали не двигалась, и сквозь стиснутые руки раздавались ее приглушенные вопли.

Поддавшись порыву гнева, барон схватил ее за руки, с силой оторвал их от лица и бросил ее на колени перед кроватью:

– Говори же... Отвечай!

Она так и осталась на полу в позе кающейся Магдалины; чепчик ее сбился на сторону, фартук распластался по полу, и она снова закрыла лицо руками, как только они оказались свободными.

Теперь к ней обратился кюре:

– Ну, дочь моя, слушай, что тебе говорят, и отвечай. Мы не хотим сделать тебе ничего дурного, но желаем знать то, что произошло.

Жанна смотрела на нее, свесившись с кровати. Наконец она сказала:

– Это правда, что ты была в постели Жюльена, когда я вас застигла?

Розали сквозь сжатые руки простонала:

– Да, сударыня.

Тогда баронесса внезапно принялась также плакать, шумно всхлипывая; ее судорожные рыдания вторили рыданиям Розали.

Жанна, пристально глядя на служанку, спросила:

– С каких пор это началось у вас?

Розали пролепетала:

– С тех пор, как он приехал.

Жанна не поняла:

– С тех пор, как он приехал... значит... значит... с весны?

– Да, сударыня.

– С тех пор, как он вообще появился в этом доме?

– Да, сударыня.

Жанна продолжала торопливо спрашивать, точно обилие вопросов мучило ее:

– Но как же это случилось? Как заговорил он об этом с тобой? Как он тобой овладел? Что он сказал тебе? Когда и как ты уступила ему? Как могла ты ему отдаться?

Розали отняла руки от лица, тоже испытывая лихорадочное желание говорить, потребность высказаться:

– Да почему я знаю? Это было в тот день, когда он у нас в первый раз обедал. Он пришел в мою комнату. Спрятался на чердаке. Я не смела кричать, чтобы не вышло истории. И он лег ко мне. Я сама себя не помнила тогда. Он делал со мной все, что хотел. Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!..

Жанна вскрикнула:

– Значит... твой... твой... ребенок... от него?

Розали зарыдала:

– Да, сударыня.

Они смолкли.

Слышны были только рыдания Розали и баронессы.

Подавленная Жанна почувствовала, что ее глаза тоже мокры, и крупные слезы беззвучно потекли по ее щекам. У ребенка горничной и у ее ребенка один отец. Ее гнев утих. Она чувствовала себя теперь во власти мрачного, тяжелого, глубокого, безграничного отчаяния.

Наконец она возобновила расспросы изменившимся, смягченным голосом плачущей женщины:

– С тех пор как мы вернулись оттуда... из нашей поездки... когда он начал опять?

Горничная, совсем пригнувшись к полу, пролепетала:

– В... в первый вечер... он пришел ко мне.

Каждое слово терзало сердце Жанны. И так, в первый же вечер, в вечер их возвращения в «Тополя», он покинул ее ради этой девушки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну!

Теперь она знала уже достаточно и больше ничего не хотела слышать. Она закричала:

– Уйди! Уйди!

А так как Розали, уничтоженная, не двигалась с места, Жанна крикнула отцу:

– Уведи ее, удали!

Но священник, молчавший до сих пор, счел момент подходящим, чтобы вставить маленькую проповедь:

– Ты поступила очень дурно, дочь моя, очень дурно, и милосердный бог не скоро простит тебе. Подумай об аде, который ждет тебя, если ты не постарайшься впредь хорошо себя вести. Теперь, имея ребенка, ты должна исправиться. Баронесса, без сомнения, сделает для тебя, что может, и мы подыщем тебе мужа...

Он говорил бы и дальше, но барон опять схватил Розали за плечи, поднял ее, дотащил до двери и вышвырнул, как мешок, в коридор.

Едва лишь барон, бледный, как его дочь, вернулся обратно, кюре начал снова:

– Что поделаешь? Они здесь все такие. Это очень прискорбно, но ничего добиться нельзя, приходится быть снисходительным к слабостям природы. Ни одна из них не выходит замуж, не забеременев сначала. Ни одна, сударыня. – И он, улыбаясь, прибавил: – Можно подумать, что это местный обычай. – Затем заговорил негодуя: – Даже дети попадают в подобных вещах. Я сам поймал в прошлом году на кладбище двух школьников, мальчика и девочку. Я известил родителей! И знаете, что они мне ответили? «Что делать, господин кюре! Ведь не мы их научили этой гадости; мы ничего тут не можем поделать». Ваша служанка, сударь, поступила, как все другие...

Но барон, нервно дрожа, прервал его:

– Как другие? Какое мне дело до нее! Меня возмущает Жюльен. Он сделал подлость, и я увезу мою дочь. – Он шагал по комнате, все больше волнуясь и раздражаясь. – Это подлость – так изменить моей дочери, подлость! Этот человек – негодяй, каналья, гадина! И я скажу ему это, я дам ему пощечину, я убью его своей палкой!

Но священник, сидя рядом с плачущей баронессой и медленно втягивая понюшку табаку, обдумывал, как ему приступить к выполнению своей миссии миротворца, и возразил:

– Позвольте, барон, говоря между нами, виконт поступил, как поступают все. Много ли вы знаете верных мужей? – И он с лукавым добродушием прибавил: – Знаете, держу пари, что и у вас были проказы. Ну, положи руку на сердце, разве это не правда?

Барон в смущении стоял лицом к лицу со священником, а тот продолжал:

– Ну что же, вы поступали так, как другие. Почему знать; быть может, даже и вам пришлось когда-нибудь пощупать такую вот милашку, как эта. Говорю вам: все так делают. И ваша жена была от этого не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?

Барон, застигнутый врасплох, не трогался с места.

Он в самом деле так поступал, черт возьми, и даже очень часто, всякий раз, когда к этому представлялась возможность; он так же не уважал семейного очага и никогда не отступал перед горничными своей жены, если они были красивы! Разве был он негодяем из-за этого? Почему же он так строго осуждает поведение Жюльена, если никогда не задумывался о том, что его собственное поведение могло считаться преступным?

И у баронессы, все еще всхлипывающей, промелькнула на губах тень улыбки при воспоминании о проказах супруга; ведь она принадлежала к тем сентиментальным, быстро смягчающимся и благодушным людям, для которых любовные приключения составляют существенную часть жизни.

Обессиленная Жанна вытянулась на спине, широко открыв глаза, безвольно раскинув руки, и мучительно думала. Ей запомнились слова Розали, которые больно ранили ее и, словно буравчик, сверлили ей сердце: «Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!...»

Ей он также был по сердцу, и именно поэтому она отдалась ему, соединилась с ним на всю жизнь, отказалась от других надежд, от всевозможных планов, от всей неизвестности будущего. Она ринулась в этот брак, в эту бескрайнюю пропасть, которая привела ее к страданию, к тоске и безнадежности только потому, что ей, как и Розали, он был по сердцу!

Дверь отворилась от бешеного толчка. Явился разъяренный Жюльен. Он увидел на лестнице рыдающую Розали и пришел узнать, в чем дело, сообразив, что тут что-то затевают и что горничная, без сомнения, проболталась. Присутствие священника приковало его к месту.

Взволнованным, но тихим голосом он спросил:

– Что такое? В чем дело?

Барон, так сильно свирепствовавший только что, не осмелился ничего сказать, побаиваясь доводов священника и того, что зять может сослаться на его собственный пример. Мамочка только сильнее заплакала. Но Жанна приподнялась на локте и, задыхаясь, смотрела на того, из-за которого так жестоко страдала.

Прерывающимся голосом она проговорила:

– Случилось то, что нам теперь все известно, что мы знаем все ваши гнусности с тех пор... с того самого дня, как вы вступили в этот дом... и ребенок этой служанки так же ваш... так же... как и мой... они братья...

Страшное горе охватило ее при этой мысли, и она повалилась на постель, неудержимо рыдая.

Жюльен стоял оторопев, не зная, что сказать, как поступить.

Кюре вмешался снова:

– Перестаньте, перестаньте, не будем так горевать, сударыня; будьте же благоразумны.

Он встал, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. Это простое прикосновение странным образом успокоило ее: она тотчас же почувствовала себя ослабевшей, точно эта сильная рука деревенского жителя, привыкшая жестом отпустить грехи и ласково ободрять, принесла ей своим прикосновением таинственное умиротворение. Добродушный старик, все еще стоя около нее, продолжал:

– Надо всегда прощать, сударыня. Вас посетило большое несчастье, но бог в своем милосердии вознаградил вас за это великой радостью, ибо вам предстоит стать матерью. Этот ребенок будет вашим утешением. И во имя его я умоляю и заклинаю вас простить господину Жюльену его заблуждение. Это будет новой связью между вами, залогом его будущей верности. Можете ли вы сердцем своим стать чуждой тому, чей плод вы носите в своем чреве?

Истерзанная, исстрадавшаяся, опустошенная, она ничего не отвечала, не чувствуя в себе больше сил ни для гнева, ни для ненависти. Казалось, ее нервы ослабели, точно их подрезали; она была чуть жива.

Баронесса, которой злопамятство было совсем чуждо и воля которой была решительно неспособна к какому-либо продолжительному напряжению, прошептала:

– Ну, Жанна!

Тогда кюре взял руку молодого человека и вложил ее в руку жены, подведя его к кровати. Затем он легонько хлопнул по их соединенным рукам, словно для того, чтобы связать их окончательно, и, оставив профессиональный проповеднический тон, сказал с довольным видом:

– Вот так! Поверьте, оно и лучше будет.

Две руки, соединенные на минуту, тотчас же разомкнулись. Не посмея обнять Жанну, Жюльен поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял под руку барона, который не противился этому, будучи счастлив в глубине души, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить сигару.

Тогда обессиленная больная задремала, а священник и мамочка продолжали разговаривать вполголоса.

Аббат говорил, объяснял, развивал свои соображения, а баронесса все время соглашалась с ним, кивая головой. В заключение священник сказал:

– Итак, решено. Вы даете за этой девушкой барвильскую ферму, а я берусь подыскать ей мужа, честного, порядочного парня. О, с приданым в двадцать тысяч франков у нас не будет недостатка в охотниках! Нам останется только выбирать.

Баронесса тоже улыбалась теперь, чувствуя себя вполне счастливой; две слезинки еще остались у нее на щеках, но влажные следы их уже высохли.

Она подтвердила:

– Хорошо. Барвиль стоит по меньшей мере двадцать тысяч франков, но надо записать ферму на имя ребенка; родители же смогут при жизни пользоваться доходами с нее.

Кюре поднялся и, пожимая руку мамочке, повторял:

– Не беспокойтесь, баронесса, не беспокойтесь; я хорошо знаю, чего стоит вам каждый шаг.

Выходя, он встретил тетю Лизон, которая шла проведать больную, она ни о чем не подозревала, ей ничего не сказали, и, как всегда, она ничего не узнала.

Розали покинула дом, а Жанна отбывала период своей скорбной беременности. Она не ощущала ни малейшей радости при мысли, что сделается матерью: пережитое горе подавляло ее. Она ждала ребенка без всякого любопытства, томясь страхом новых бесконечных несчастий.

Весна подошла незаметно. Голые деревья дрожали под порывами еще холодного ветра, а из-под прелых осенних листьев во влажной траве канав начали уже пробиваться подснежники. С равнины, из дворов ферм, с размытых полей – отовсюду поднимался сырой запах, запах брожения. Из глинистой земли показывалось множество крошечных зеленых точек и сверкало под лучами солнца.

Толстая женщина, здоровенная, как крепостная стена, заменила Розали и поддерживала баронессу во время ее однообразных прогулок по аллее, на которой беспрестанно оставался влажный и грязный след ее больной, более неповоротливой ноги.

Папочка подавал руку Жанне, отяжелевшей теперь и постоянно чувствовавшей недомогание; тетя Лизон, встревоженная и захлопотавшаяся в ожидании предстоящего события, брала ее под руку с другой стороны, испытывая глубокое волнение при виде той тайны, узнать которую ей не было суждено.

Целыми часами расхаживали они так, почти не разговаривая, в то время как Жюльен разъезжал по окрестностям верхом; это новое увлечение внезапно захватило его.

Ничто более не тревожило их однообразной и тусклой жизни. Барон, баронесса и виконт сделали визит Фурвилям, с которыми Жюльен, по-видимому, был уже близко знаком, хотя никто хорошенько не знал, как произошло это знакомство. Другим визитом, очень церемонным, они обменялись с Бризвильями, по-прежнему уединенно жившими в своем сонном замке.

Однажды около четырех часов пополудни на двор, прилегающий к замку, рысью въехали два всадника: мужчина и женщина. Жюльен, сильно взволнованный, вбежал в комнату Жанны:

– Скорей, скорей сойди вниз! Это Фурвили. Они приехали запросто, по-соседски, зная о твоём положении. Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь. Я только переоденусь.

Удивленная Жанна сошла в гостиную. Молодая дама, бледная, хорошенькая, болезненная, с чересчур блестящими глазами и белокурыми волосами такого матового оттенка, точно их никогда не ласкал луч солнца, спокойно представила ей своего мужа, великана с длинными рыжими усами, смотрившего букой. Затем она сказала:

– Мы уже несколько раз встречались с господином де Лямаром и знаем от него, что вы себя плохо чувствуете. Нам не хотелось откладывать дольше знакомство с вами, и мы явились на правах соседей, без всяких церемоний. Вы видите, мы приехали верхом. К тому же мы имели удовольствие видеть у себя вашу матушку и барона.

Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу почувствовала к ней влечение. «Вот – друг», – подумала она.

Граф де Фурвиль, напротив, казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки: он оперся ими о колени, затем о ручки кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве.

Вдруг вошел Жюльен. Изумленная Жанна не узнала его. Он побрился. Он был красив, изящен и обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щеки которой, цвета слоновой кости, слегка порозовели, а ресницы чуть дрогнули.

Он заговорил. Он был любезен, как в былые времена. Его большие глаза – зеркало любви – снова стали нежными, а волосы, недавно такие жесткие и тусклые, приобрели прежний блеск и мягкую волнистость под влиянием щетки и душистой помады.

Когда Фурвили собрались уезжать, графиня обернулась к нему:

– Дорогой виконт, не хотите ли в четверг совершить прогулку верхом?

Затем, пока Жюльен раскланивался, бормоча: «О да, конечно, сударыня», – она взяла руку Жанны и сказала нежным, вкрадчивым голосом, ласково улыбаясь:

– Когда вы выздоровеете, мы втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно, вы не против?

Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с легкостью птички вскочила в седло, между тем как ее муж, неуклюже раскланявшись, взобрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грузно, как кентавр.

Когда они исчезли, повернув за ворота, Жюльен, пребывавший в полном восхищении, воскликнул:

– Что за очаровательные люди! Вот знакомство, которое нам может быть полезно.

Жанна, также довольная, хотя и не зная почему, ответила:

– Маленькая графиня восхитительна, и я чувствую, что полюблю ее; но муж ее звероподобен. Где же ты все-таки познакомился с ними?

Весело потирая руки, Жюльен отвечал:

– Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж кажется несколько грубоватым. Он завязанный охотник, но тем не менее настоящий аристократ.

Обед прошел почти весело, точно в дом вошло невидимое счастье.

До последних чисел июля ничего нового не случилось.

Однажды вечером, во вторник, когда семья сидела под платаном за деревянным столиком, на котором стояли графин с водкой и две рюмки, из груди Жанны вдруг вырвался крик и, страшно побледнев, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронизала ее, а затем тотчас же стихла.

Но минут через десять новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила ее. Она едва дотащилась до дому, почти лежа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от платана до ее комнаты казалось ей бесконечным; терзаемая нестерпимым ощущением тяжести в животе, она стонала и поминутно просила остановиться, дать ей присесть.

Срок еще не наступил, роды ожидалась только в сентябре; но из опасения каких-либо осложнений немедленно был заложен экипаж, и дядя Симон помчался за доктором.

Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил симптомы преждевременных родов.

В постели боли несколько стихли, но Жанну угнетала ужасная тоска, безнадежная слабость всего существа, что-то вроде предчувствия, вроде таинственного прикосновения смерти. Это было одно из тех мгновений, когда смерть подходит к нам так близко, что ее дыхание леденит нам сердце.

Комната была полна народу. Мамочка задыхалась, погрузившись в кресло. Барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, приносил вещи, советовался с доктором. Жюльен расхаживал взад и вперед с озабоченным видом, но внутренне вполне спокойный, а вдова Дантю стояла в ногах кровати с выражением лица, соответствовавшим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется. Будучи сиделкой, акушеркой и дежуря около умерших, принимая вступающих в этот мир, встречая их первый крик, обмывая первой водой их новую плоть, пеленая их в первое белье, она в дальнейшем с тем же самым спокойствием принимала последние слова, последний хрип, последнее содрогание уходящих из этого мира и так же совершала их последний туалет, омывая их износившееся тело водой с уксусом, окутывая его последней простыней, и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях рождения и смерти.

Кухарка Людивина и тетя Лизон скромно прятались за дверь прихожей.

У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение двух часов можно было еще думать, что ожидаемое событие совершится не скоро; но к концу дня боли возобновились с неистовой силой и вскоре сделались ужасными.

И Жанна, крики которой невольно вырывались сквозь стиснутые зубы, неотступно думала о Розали, которая совсем не страдала, почти не стонала и чей ребенок – незаконный ребенок – был рожден без боли и без мук.

В своей несчастной и измученной душе она беспрестанно сравнивала себя с Розали и проклинала бога, которого когда-то считала справедливым; она негодовала на преступное пристрастие судьбы, на преступную ложь тех, которые проповедуют справедливость и добро.

Иногда приступы боли делались до того ужасными, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся ее жизнь, все ее сознание поглощались страданием.

В минуты успокоения она не могла оторвать глаз от Жюльена; иная боль, боль душевная, овладевала ею при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала в ногах этой самой кровати с ребенком между ног, братом того маленького существа, которое так ужасно раздрает ее внутренности. Она совершенно явственно восстанавливала в памяти жесты, взгляды, слова мужа, когда он стоял над распростертой девушкой; и теперь она читала в нем, точно его мысли были написаны в его движениях, ту же скуку, то же равнодушие, как и к той, другой, то же безучастие эгоиста, которого раздражает отцовство.

Но вдруг ее схватила такая ужасная судорога, такая жестокая спазма, что она подумала: «Умираю; это смерть!» В бешеном порыве ее душа исполнилась возмущения, жажды проклятий, а также безграничной ненависти к этому человеку, который ее погубил, и к неизвестному ребенку, который ее убивает.

Она напрягалась и сверхчеловеческим усилием старалась выбросить из себя это бремя. Вдруг ей показалось, что живот ее быстро опадает, и ее страдания утихли.

Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали ее. Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затрепетать; затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное, истомленное существо проник скорбный крик, слабое мяуканье новорожденного, и она бессознательным движением попыталась протянуть руки.

В ней поднялась волна радости, порыв к новому счастью, которое только что наступило. За какую-нибудь секунду она почувствовала себя облегченной, умиротворенной, счастливой, – счастливой, как никогда! Ее сердце и тело оживали, она чувствовала себя матерью!

Она захотела увидеть ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился раньше времени; но когда она увидела, как шевелится эта личинка, как открывает рот и испускает крики, когда она прикоснулась к скорченному, гримасничающему, шевелящемуся недоноску, неудержимая радость переполнила ее и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить и более ей ничего не нужно.

С этих пор у нее была одна мысль – о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах. Она пожелала, чтобы колыбель ребенка всегда стояла рядом с ее кроватью, а когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребенка и качала его.

Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшееся крохотное существо тянулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами темный и сморщенный сосок, она смотрела, бледная и дрожащая, на сильную и спокойную крестьянку, испытывая желание вырвать у нее сына и ударить, изорвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал.

Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные и затейливые наряды. Ребенок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чем, кроме него, она не могла говорить, прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пеленкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы; не слушая, о чем говорилось вокруг нее, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала:

– Как вы думаете, пойдет ему это?

Эта неистовая нежность вызывала улыбку у ее родителей. Между тем Жюльен, потревоженный в своих привычках, чувствуя, что его владычество в доме ослаблено с приходом этого горластого и всемогущего тирана, бессознательно ревнуя к этому кусочку человеческого мяса, который занял его место в доме, беспрестанно твердил с нетерпением и гневом:

– Как она несносна со своим мальчишкой!

Вскоре любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночи напролет над колыбелью, глядя, как спит малютка. Но это болезненное и страстное созерцание чересчур изнуряло ее, она совсем не знала покоя, она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить ее с сыном.

Она сердилась, плакала, умоляла, но к ее просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить к кормилице. И каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чем-нибудь.

Однажды ее застал в таком положении Жюльен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилей, и с этих пор ее начали запираť на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели.

Крестины были в конце августа. Барон был крестным, тетя Лизон – крестной. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стало его обычным именем.

В первых числах сентября незаметно уехала тетя Лизон, и ее отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие.

Однажды после обеда пришел кюре. Он казался смущенным, словно должен был сообщить какую-то тайну; после короткого разговора на общие темы он попросил баронессу и ее мужа уделить ему несколько минут для частной беседы.

Они направились втроем медленным шагом в конец широкой аллеи, завязав оживленную беседу, между тем как Жюльен, оставшийся наедине с Жанной, удивлялся этой таинственности, тревожился и раздражался.

Он захотел проводить священника, когда тот откланялся, и они ушли вместе по направлению к церкви, где в эту минуту звонили анжелюс.

Было свежо, почти холодно, и скоро семейство собралось в гостиной. Всех начинало уже клонить ко сну, когда внезапно вбежал Жюльен, красный и негодующий.

Еще в дверях, не обращая внимания на присутствие Жанны, он крикнул тестю и теще:

– Вы совсем сумасшедшие, черт возьми! Вышвырнуть этой девке двадцать тысяч франков!

Никто не произнес ни слова, до того все были изумлены. Он продолжал прерывающимся от гнева голосом:

– Нельзя же дурить до такой степени; вы хотите оставить нас без гроша.

Тогда барон, придя в себя, попытался остановить его:

– Замолчите! Помните, что вы говорите в присутствии вашей жены.

Но тот весь трясся от раздражения.

– Плевать мне на это; да вдобавок ей и так все известно. Это кража ее добра.

Жанна, пораженная, смотрела, ничего не понимая. Она пролепетала:

– Да в чем же дело наконец?

Тогда Жюльен, обернувшись, призвал ее в свидетели, как товарища, обманутого вместе с ним в общих расчетах. И сразу выложил о заговоре, имевшем целью выдать замуж Розали и подарить ей барвильскую ферму, стоившую по крайней мере двадцать тысяч. Он повторял:

– Твои родители с ума сошли, окончательно с ума сошли! Двадцать тысяч франков! Двадцать тысяч! Да они свихнулись! Двадцать тысяч незаконному ребенку!

Жанна слушала его без волнения и без гнева, сама удивляясь своему спокойствию; она была теперь вполне равнодушна ко всему, что не касалось ее ребенка.

Барон задыхался, не находя слов для ответа. Наконец он вспылил, затопал ногами и закричал:

– Думайте о том, что говорите; это, в конце концов, возмутительно! Чья вина, что нам приходится давать приданое этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребенок? Вы хотели бы теперь его бросить?

Жюльен, удивленный гневом барона, смотрел на него во все глаза. Затем заговорил более сдержанно:

– Но и полутора тысяч было бы совершенно достаточно. Ведь они все заводят детей до замужества. Не все ли равно, от кого ребенок, это нисколько не меняет положения. Между тем если вы дарите ей ферму в двадцать тысяч, то, не говоря уже об ущербе, наносимом нам, вы тем самым кричите на весь мир о случившемся; вам следовало бы хоть немного подумать о нашем имени и нашем положении.

Он говорил строгим голосом, как человек, уверенный в своем праве и в логичности своих рассуждений. Барон, озадаченный неожиданной аргументацией, оторопело молчал, стоя перед ним. Тогда Жюльен, почувствовав свое превосходство, заключил:

– К счастью, дело еще не решено; я знаю парня, который собирается на ней жениться; это хороший малый, с ним можно сговориться. Я беру это на себя.

Он тотчас же вышел, опасаясь, видимо, продолжения споров, довольный общим молчанием и принимая его за согласие.

Едва он скрылся за дверью, барон воскликнул, весь дрожа, вне себя от изумления:

– О, это уж чересчур, это уж чересчур!

А Жанна, подняв взор на растерянное лицо отца, вдруг расхохоталась звонким смехом, как смеялась прежде, когда видела что-нибудь забавное.

Она повторяла:

– Папа, папа, а слышал ты, как он произнес: «Двадцать тысяч франков»?

Мамочка, столь же быстро поддававшаяся веселости, как и слезам, расхохоталась своим задыхающимся смехом, от которого увлажнились ее глаза, как только вспомнила о свирепом лице зятя, его негодующих возгласах и резком отказе выдать соблазненной им девушке деньги, которые ему не принадлежали; к тому же она была счастлива при виде веселья Жанны. Тогда и барон, словно заразившись, начал смеяться, и все трое, как бывало в добрые старые времена, хохотали до упаду.

Когда они несколько успокоились, Жанна с удивлением заметила:

– Любопытно, что все это меня совсем не волнует. Я смотрю теперь на него как на чужого. Мне не верится, что я его жена. И видите, я смеюсь над его... над его... над его бестактностью.

И, сами не зная почему, все расцеловались, растроганные и улыбающиеся.

Два дня спустя, после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, высокий парень лет двадцати двух или двадцати пяти, одетый в новую, топорщившуюся синюю блузу, с рукавами в виде пузырей, застегнутыми у запястий, осторожно вошел в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра; он прошел вдоль канавы, окружавшей ферму Кульяров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим, по обыкновению, под платаном.

Завидя их, он снял фуражку и подошел, с явным смущением отвешивая поклоны.

Приблизившись настолько, что его можно было слышать, он пробормотал:

– Ваш покорный слуга, господин барон, баронесса и вся компания.

Потом, не получая ответа, он отрекомендовался:

– Это я – Дезире Лекок.

Имя ничего не разъяснило, и барон спросил:

– Что вам угодно?

Поняв, что необходимо объясниться, парень совсем смутился. Он невнятно заговорил, то опуская глаза к фуражке, которую держал в руках, то поднимая их к крыше замка:

– Господин кюре замолвил мне словечко насчет этого дела...

Тут он замолчал из боязни проболтаться и повредить своим интересам.

Барон, не понимая, спросил:

– Какого дела? Я ничего не знаю.

Парень, понижая голос, наконец отважился сказать:

– Насчет вашей служанки... Розали.

Жанна, догадавшись, встала и удалилась, держа ребенка на руках. А барон сказал: «Подойдите поближе» – и затем указал на стул, на котором сидела его дочь.

Крестьянин тотчас же сел, пробормотав:

– Премного благодарен.

Потом стал ждать, словно ему нечего было более говорить. После довольно длительного молчания он решился наконец приступить к делу и устремил глаза на голубое небо:

– И хороша же погода по такому времени! Вот уж земля-то попользуется, для посевов!

Затем замолчал снова.

Барон потерял терпение и резко спросил:

– Так это вы женитесь на Розали?

Крестьянин оторопел: его, привыкшего к нормандскому лукавству, смутила прямота вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твердым тоном:

– Это смотря как; быть может, да, а быть может, и нет, смотря как.

Но барона взбесили его увертки.

– Черт побери! Да отвечайте прямо: для этого вы пришли сюда или нет? Берете вы ее или нет?

Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги.

– Если все обстоит так, как говорил господин кюре, я беру, а если так, как говорил мне господин Жюльен, – не беру.

– А что вам говорил господин Жюльен?

– Господин Жюльен сказал, что я получу тысячу пятьсот франков, а господин кюре говорил, что мне дадут двадцать тысяч; ну так я согласен за двадцать тысяч, но не согласен за тысячу пятьсот.

Баронессу, покоившуюся в кресле, начинала забавлять боязливая мина крестьянина. Последний искоса поглядывал на нее недовольным взглядом, не понимая ее веселости, и продолжал выжидать.

Барон, которому надоел этот торг, сразу разрешил дело:

– Я сказал господину кюре, что вы получите в пожизненное владение барвильскую ферму, которая перейдет к вашему ребенку. Она стоит двадцать тысяч франков. Я не изменю своему слову. Итак, да или нет?

Крестьянин улыбнулся с покорным и удовлетворенным видом и неожиданно сделался болтлив:

– Раз так, я не отказываюсь. За этим только и была задержка. Когда господин кюре говорил мне об этом деле, я мигом согласился, черт возьми, да и, кроме того, мне хотелось угодить господину барону, который уж сумеет вознаградить меня: так я и сказал себе. Ведь правда же, что когда люди делают одолжение друг другу, то рано или поздно они всегда сумеют сосчитаться и отблагодарить друг друга? Но господин Жюльен пришел ко мне, и оказалось, что это всего-навсего тысяча пятьсот. Я и подумал: «Надо посмотреть», – и вот я пришел. Не то чтоб я не доверял, нет, а просто хотел узнать. Счет дружбы не портит, не так ли, господин барон...

Чтобы его остановить, барон спросил:

– Когда же вы предполагаете заключить брак?

Крестьянин мгновенно сделался опять нерешительным и полным сомнений. Наконец он сказал, запинаясь:

– А разве мы не составим наперед маленькой бумажки?

Тут барон вскипел:

– Да черт подери, у вас же будет брачное свидетельство. Это самая лучшая из бумажек.

Крестьянин упорствовал:

– Все-таки пока что мы ее могли бы составить, это ведь не повредит.

Барон поднялся, чтобы покончить с делом:

– Отвечайте – да или нет, и притом тотчас же. Если вы не согласны, у меня есть другой жених.

Боязнь встретить соперника подействовала на хитрого нормандца. Он наконец решился и протянул руку, словно при покупке коровы:

– По рукам, господин барон, – кончено дело. Только дурак от этого откажется.

Барон ударил по рукам, затем крикнул:

– Людивина!

Кухарка высунулась в окно.

– Подайте-ка бутылку вина.

Они выпили, чтобы спрыснуть сделку. И парень удалился бодрым шагом.

Жюльену ничего не сказали об этом посещении. Контракт составлялся в большой тайне, а немного погодя, после оглашения, как-то в понедельник поутру, состоялась свадьба.

Одна из соседок несла в церковь малыша позади новобрачных как верный залог их будущего богатства. Никто в деревне не удивился: Дезире Лекоку только завидовали. «В сорочке родился», – говорили про него с лукавой усмешкой, но без малейшей тени негодования.

Жюльен устроил ужасную сцену, которая сократила пребывание его тещи и тестя в «Тополях». Жанна провожала их без особой печали, так как Поль сделался для нее теперь неисчерпаемым источником счастья.

Когда Жанна совсем оправилась от родов, было решено отдать визит Фурвилям, а также представиться маркизу де Кутелье.

Жюльен только что купил на аукционе новый экипаж, одноконный фаэтон, чтобы иметь возможность выезжать два раза в месяц.

В ясный декабрьский день экипаж заложили и после двух часов пути по нормандским равнинам стали спускаться в небольшую долину, склоны которой были покрыты лесом, а посередине раскинулась пашня.

Вскоре пашня сменилась лугами, а луга – болотами, поросшими в это время года сухим камышом, длинные листья которого, похожие на желтые ленты, шелестели, развеваемые ветром.

Неожиданно за крутым поворотом долины показался замок Врильет; с одной стороны он упирался в лесистый склон, а с другой – стены его погружались в огромный пруд, за которым находился высокий сосновый лес, спускавшийся с противоположного склона долины.

Чтобы попасть во двор, где стоял изящный дом в стиле Людовика XIII, облицованный кирпичом, с угловыми башенками, крытыми шифером, нужно было проехать по старинному подъемному мосту и миновать огромный портал в том же стиле.

Жюльен объяснил Жанне назначение различных частей здания с видом завсегдатая, которому оно отлично известно. Он хвалил замок, восторгался его красотой.

– Посмотри на этот портал! Не правда ли, какое величественное зрелище? Весь тот фасад выходит прямо в пруд; там великолепное крыльцо, которое спускается к самой воде, причем у нижних ступенек прикреплены четыре лодки: две для графа и две для графини. Направо, где ты видишь ряд тополей, кончается пруд, и там начинается река, которая течет к Фекану. В этих местах пропасть дичи. Граф больше всего любит охотиться именно здесь. Да, вот это настоящее барское поместье!

Отворилась дверь, и показалась бледная графиня; она шла навстречу гостям, улыбаясь, одетая в платье со шлейфом, как владелица замка былых времен. Она казалась настоящей Дамой с озера, как бы созданной для этого сказочного замка.

В гостиной было восемь окон, из которых четыре выходили на пруд и на мрачный сосновый лес, покрывавший противоположный берег.

Темная зелень деревьев придавала пруду глубокий, строгий и угрюмый вид, а когда дул ветер, стон деревьев казался голосом, звучащим из болота.

Графиня взяла Жанну за обе руки, словно была ее подругой с самого детства, усадила гостью, а сама поместилась возле нее на низком стуле, в то время как Жюльен, который за последние пять месяцев вновь обрел прежнее изящество, добродушно и непринужденно болтал и смеялся.

Они с графиней говорили о своих прогулках верхом. Она слегка высмеивала его манеру ездить, называя его «Спотыкающимся всадником», а он тоже шутил, окрестив ее «Королевой амазонок». Выстрел, раздавшийся под окнами, заставил Жанну слегка вскрикнуть. Это граф убил чирка.

Жена тотчас же позвала его. Послышался шум весел, толчок лодки о камень, и появился граф, огромный, в сапогах; его сопровождали две мокрые собаки, рыжеватые, как и он сам, которые улеглись на ковре перед дверью.

У себя дома он казался непринужденнее и очень обрадовался гостям. Он велел подкинуть в камин дров, подать мадеры и печенья, а затем вдруг воскликнул:

– Вы остаетесь у нас обедать! Решено!

Жанна, которую никогда не покидала мысль о ребенке, отказалась, но граф настаивал, и так как она упорствовала, у Жюльена вырвался резкий, нетерпеливый жест. Тогда, боясь вызвать в нем злое, сварливое настроение, Жанна согласилась, хотя мысль, что она не увидит Поля до следующего утра, не давала ей покоя.

День прошел приятно. Сначала принялись за осмотр родников. Они били у подножия мшистой скалы, стекая в прозрачный водоем, где вода была все время в движении, точно закипала; затем проехали в лодке по настоящим дорожкам, прорезанным в чаще сухих камышей. Граф сидел на веслах между двух своих собак, которые приноживались, подняв носы; каждый взмах весел толкал тяжелую лодку вперед. Жанна время от времени окунала руку в холодную воду и наслаждалась ледяной свежестью, точно пробежавшей от пальцев к сердцу. Жюльен и закутанная в шаль графиня, сидя на корме, улыбались тою долго не сходящей с губ улыбкой счастливых людей, которым больше нечего желать.

Наступил вечер, принес с собой леденящую дрожь от порывов северного ветра, игравшего в увядших камышах. Солнце закатилось за деревья; красное небо, испещренное причудливыми алыми облаками, одним своим видом уже вызывало ощущение холода.

Вернулись в огромную гостиную, где в камине пылал яркий огонь. Ощущение тепла и уюта радовало входивших еще у дверей. Развеселившийся граф схватил жену своими руками атлета, приподнял ее, как ребенка, до уровня своего рта и крепко чмокнул в обе щеки с видом добродушного и довольного человека.

Жанна, улыбаясь, глядела на этого великана, уже одними усищами своими похожего на людоеда, и думала: «Как часто мы ошибаемся в людях». Потом, почти невольно переведя взгляд на Жюльена, она увидела, что он стоит у двери, смертельно бледный, впившись взглядом в графа. Обеспокоенная, она подошла к мужу и спросила вполголоса:

– Тебе нездоровится? Что с тобой?

Он ответил со злостью:

– Ничего, оставь меня в покое. Мне холодно.

Когда перешли в столовую, граф попросил позволения впустить собак; они тотчас же явились и уселись по правую и по левую сторону от хозяина. Он ежеминутно бросал им куски и гладил их длинные шелковистые уши. Животные тянулись к нему мордами, махали хвостами, вздрагивая от удовольствия.

После обеда, когда Жанна и Жюльен собрались уезжать, г-н де Фурвиль снова удержал их, желая показать им рыбную ловлю с факелом.

Он усадил их рядом с графиней на крыльце, спускавшемся в пруд, а сам сел в лодку вместе с лакеем, несшим рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная; небо было усеяно золотыми звездами.

Факел расстилал по воде ленты причудливых, колеблющихся огней, бросал пляшущие отблески на камыши, освещал ряды сосен. И внезапно, когда лодка повернула, на этой освещенной опушке леса поднялась колоссальная фантастическая тень человека. Голова его была выше деревьев и терялась в небе, а ноги тонули в пруду. Гигантское существо подняло руки, точно желая схватить звезды. Эти громадные руки вдруг вытянулись, затем упали, и тотчас же послышался легкий всплеск воды.

Тогда лодка вновь сделала медленный поворот, и чудесный призрак пробежал вдоль освещенного леса; потом он слился с невидимым горизонтом, а немного погодя вдруг появился снова, теперь уже на фасаде замка, не такой огромный, но более отчетливый, с присущими ему странными движениями.

Послышался грубый голос графа:

– Жильберта, я поймал восемь штук!

Весла ударяли по воде. Громадная тень стояла теперь неподвижно на стене, мало-помалу уменьшаясь в росте и ширине; голова ее словно опускалась, а тело тощало, и когда г-н де Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении лакея, несшего факел, тень свелась уже к размерам его собственной особы и вторила всем его движениям.

В сетке у него трепетали восемь крупных рыб.

Когда Жанна с Жюльеном ехали обратно, закутавшись в плащи и пледы, которые им одолжили, она почти невольно сказала:

– Какой славный этот великан!

Жюльен, правивший лошадей, отвечал:

– Да, только не всегда умеет держать себя в обществе.

Неделю спустя они поехали к Кутелье, которые считались самой аристократической семьей в округе. Их имение Реминиль находилось рядом с большим поселком Кани. Новый замок, выстроенный при Людовике XIV, скрывался в великолепном парке, обнесенном стеною. На холме виднелись развалины старинного замка. Парадно разодетые лакеи ввели гостей в величественные покои. Посредине на колонне стояла громадная ваза севрского фарфора, а на цоколе под стеклом было помещено собственноручное письмо короля, приглашавшее маркиза Леопольда Эрве Жозефа Жерме де Варневиль де Рольбоск де Кутелье принять этот дар монарха.

Жанна и Жюльен рассматривали королевский подарок, когда вышли маркиз и его жена. Маркиза была напудрена, учтивая по долгу хозяйки и несколько жеманна из желания казаться благосклонной. Муж, толстый человек с седыми подвитыми волосами, придавал своим жестам, тону, манере держать себя нечто высокомерное, что должно было говорить о его значительности. То были люди этикета, у которых ум, чувства и речи, казалось, всегда стояли на ходулях.

Они говорили одни, не ожидая, что им ответят, безразлично улыбаясь, и, казалось, только исполняли возложенную на них рождением обязанность любезно принимать окрестных мелких дворян.

Жанна и Жюльен чувствовали себя крайне смущенно, старались произвести хорошее впечатление, стеснялись оставаться долго и не знали, как уехать; но маркиза сама естественно и просто положила конец их визиту, прекратив разговор подобно милостивой королеве, кончающей аудиенцию.

На обратном пути Жюльен сказал:

– Если ты ничего не имеешь против, мы ограничимся этими визитами; с меня довольно и одних Фурвилей.

Жанна разделяла его мнение.

Медленно тянулся декабрь, этот черный месяц, подобный угрюмому провалу в конце года. Началась жизнь взаперти, по-прошлогоднему. Однако Жанна не скучала, потому что постоянно была занята Полем, на которого Жюльен кидал искося беспокойные, недовольные взгляды.

Нередко мать, держа его на руках и лаская с безумной нежностью, которую женщины щедро расточают своим детям, протягивала ребенка отцу, говоря:

– Да поцелуй же его; можно подумать, что ты его не любишь.

Он с неудовольствием слегка касался губами безволосого лба малютки, выгибаясь всем телом, словно для того, чтобы не встретить маленьких, скрюченных, постоянно двигающихся рученок, и быстро выходил из комнаты, как будто его гнало отвращение.

Мэр, доктор и кюре изредка приходили обедать; время от времени бывали Фурвили, связь с которыми все более и более крепла.

Граф, казалось, обожал Поля. Он держал его у себя на коленях во время своих визитов, а если дело было после полудня – то и по целым часам. Он бережно обхватывал его своими руками гиганта, щекотал ему нос кончиками своих длинных усов, а потом начинал целовать его в страстном порыве, как целуют только матери. Он вечно страдал от того, что брак их бездетен.

Март был ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта снова стала поговаривать о прогулках верхом, которые можно было предпринимать теперь всем четверым вместе. Жанна, слегка утомленная однообразием и монотонностью долгих вечеров, долгих ночей и долгих дней, согласилась, придя в восторг от этого плана, и целую неделю развлекалась шитьем амазонки.

Затем начались прогулки. Ездили всегда парами: графиня с Жюльеном впереди, граф с Жанной шагов на сто позади. Последние болтали спокойно, как друзья: одинаковая прямота душ и простота сердец сдружили их; первая пара беседовала часто шепотом, иногда порывисто смеялась, внезапно взглядывала друг на друга, как будто глаза говорили много такого, чего не произносили губы, и неожиданно пускалась галопом, чувствуя желание бежать, уехать далеко, как можно дальше.

Потом Жильберта стала раздражительной. Ее резкий голос, приносимый порывами ветра, долетал иногда до ушей отставших всадников. Граф улыбался и говорил Жанне:

– Моя жена не каждый день встает с правой ноги.

Однажды вечером, на обратном пути, когда графиня то нахлестывала и прищипывала свою лошадь, то внезапно осаживала ее, можно было слышать, как Жюльен несколько раз повторил:

– Осторожнее, осторожнее, она понесет.

Графиня отвечала: «Пусть, это не ваше дело», – и голос ее был так резок и звонок, что слова ясно прозвучали на равнине и словно повисли в воздухе.

Животное поднималось на дыбы, лягалось, изо рта у него шла пена. Встревоженный граф крикнул вдруг изо всей силы:

– Будь же осторожна, Жильберта!

Тогда, словно назло, поддаваясь одному из тех приступов женской нервности, которые ничто не в силах остановить, она жестоко ударила хлыстом лошадь между ушей; взбесившееся животное встало на дыбы, рассекая воздух передними ногами, сделало чудовищный прыжок и изо всех сил помчалось по равнине.

Сначала оно пересекло луг, затем понеслось по вспаханному полю, и, взметая, точно пыль, влажную, жирную землю, мчалось так быстро, что едва можно было различить лошадь и наездницу.

Ошеломленный Жюльен остался на месте, безнадежно взывая:

– Сударыня! Сударыня!

Но у графа вырвалось какое-то рычание, и, пригнувшись к шее своей грузной лошади, он принудил ее броском всего своего корпуса ринуться вперед; он помчался с такой стремительностью, возбуждая, увлекая и разъяря лошадь голосом, движениями и ударами шпор, что казалось, будто это сам громадный всадник несет тяжелое животное между ног и поднимает его с собою, точно желая улететь. Они скакали с невообразимой быстротой, и Жанна видела, что два силуэта, жены и мужа, неслись, неслись, уменьшались, стирались и пропадали, подобно тому, как две птицы, преследующие друг друга, теряются и исчезают на горизонте.

Тогда Жюльен шагом подъехал к Жанне, злобно бормоча:

– Кажется, сегодня она совсем спятила.

Они поехали вслед за своими друзьями, скрывшимися теперь за косогором.

Спустя четверть часа они увидели, что те возвращаются, и вскоре все соединились.

Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, сдерживал непреодолимой хваткой трепетавшую лошадь жены. Графиня была бледна, на лице ее было страдальческое выражение, и она одной рукой опиралась о плечо мужа, словно готова была лишиться чувств.

В этот день Жанна поняла, что граф безумно любит свою жену.

В течение следующего месяца графиня была весела, как никогда. Она стала чаще приезжать в «Тополя», смеялась без умолку, целовала Жанну в порыве нежности. Можно было подумать, что нечто таинственное и восторженное вошло в ее жизнь. Ее муж, тоже счастливый, не спускал с нее глаз и ежеминутно, с удвоенной страстью, старался коснуться ее руки или платья.

Однажды вечером он сказал Жанне:

– Теперь мы очень счастливы. Никогда еще Жильберта не была так мила. У нее больше не бывает дурного настроения и припадков гнева. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен.

Казалось, и Жюльен тоже переменялся, он стал веселее и не был так нетерпим, дружба двух семей точно принесла каждой из них покой и радость.

Весна была исключительно ранняя и теплая.

Целыми днями, начиная с тихого утра до наступления спокойного сыроватого вечера, жаркое солнце вызывало всю растительность к жизни. То был одновременный, быстрый и могучий рост всех семян, непреодолимый напор жизненных соков, страсть возрождения, которую природа проявляет иногда в особо излюбленные годы, и тогда кажется, что молодеет весь мир.

Жанна смутно волновалась под влиянием этого брожения жизни. При виде какого-нибудь цветка в траве она ощущала внезапную истому и переживала часы упоительной грусти, мечтательной неги.

Потом на нее нахлынули нежащие воспоминания первых дней любви: не то чтобы прежняя привязанность к Жюльену вернулась в ее сердце – с этим было покончено, покончено навсегда, – но все ее тело, ласкаемое ветром, пропитывавшееся весенними ароматами, трепетало, словно пробужденное каким-то невидимым и нежным призывом.

Она любила быть одной, отдаваться солнечному теплу, чувствовать себя во власти неопределенной и чистой радости и ощущений, не будивших в ней никаких мыслей.

Однажды утром, когда она находилась в таком состоянии полудремоты, ей внезапно представилось одно видение: залитый солнцем просвет в темной листве маленького леса близ Этрета. Там впервые извела она, как затрепетало ее тело от близости молодого человека, любившего ее; там он впервые шепнул ей о робком желании своего сердца; там она почувствовала, что достигла вдруг ожидаемого лучезарного будущего, о котором так много мечтала.

Ей захотелось вновь увидеть этот лесок, совершить туда сентиментальное и суеверное паломничество, словно возврат к тому месту мог изменить что-либо в ходе ее жизни.

Жюльен уехал с раннего утра, и она не знала куда. Жанна приказала оседлать белую лошадку Мартенов, на которой теперь иногда каталась, и пустилась в путь.

Был один из тех тихих дней, когда ничто не шелухнется – ни травка, ни лист, когда все как бы замирает в неподвижности до скончания века, словно умер сам ветер. Казалось, даже насекомые исчезли.

Знойный и властный покой незаметно нисходил от солнца, рассеиваясь золотистой дымкой. Жанна ехала шагом, убаюканная и счастливая. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на крошечное белое облако, величиной с кусок ваты, походившее на клочок повисшего пара, забытое, брошенное, одинокое там, вверху, среди голубого неба.

Она спустилась в долину, выходившую к морю между высоких скалистых арок, известных под именем ворот Этрета, и потихоньку углубилась в лес. Потоки света лились сквозь жидкую молодую листву. Она искала знакомое место, блуждая по узким дорожкам, и не могла его найти.

Вдруг, пересекая длинную аллею, она увидела в конце ее двух оседланных лошадей, привязанных к дереву; она тотчас же узнала их: то были лошади Жильберты и Жюльена. Одиночество начинало тяготить ее, она была рада этой неожиданной встрече и погнала рысью свою лошадь.

Подъехав к терпеливым животным, словно привыкшим к таким долгим стоянкам, Жанна позвала. Ей не ответили.

Женская перчатка и два хлыста валялись на измятой траве. Они, по-видимому, сидели здесь, а затем ушли, оставив лошадей.

Она прождала четверть часа, двадцать минут, удивляясь, недоумевая, что бы такое могли они делать. Она слезла с лошади и стояла не двигаясь, прислонясь к стволу дерева, и две маленькие птички, не замечая ее, спустились по соседству на траву. Одна из них волновалась, прыгала вокруг другой, трепещя распушенными крылышками, кивая головкой и чирикавая; и вдруг они соединились.

Жанна была удивлена, точно никогда раньше и не знала об этом, но затем подумала: «Правда, ведь теперь весна».

Вслед за этим ей пришла в голову другая мысль, скорее подозрение. Она вновь взглянула на перчатку, на хлысты, на двух оставленных лошадей и вдруг вскочила в седло с непреодолимым желанием бежать.

Теперь она мчалась галопом, возвращаясь в «Тополя». Голова ее работала, размышляя, связывая факты, сближая обстоятельства. Как не догадалась она об этом раньше? Как могла ничего не видеть? Как было не понять отлучек Жюльена, возрождения его былого щегольства и смягчения его нрава? Ей вспомнились также нервные выходки Жильберты, ее преувеличенная ласковость, а с некоторого времени та атмосфера блаженства, в которой жила графиня и чем был так счастлив граф.

Она пустила лошадь шагом, так как ей нужно было серьезно подумать, а быстрая езда путала мысли.

После первого пережитого волнения сердце ее почти успокоилось; ни ревности, ни ненависти не было в нем, а только одно презрение. Она совсем не думала о Жюльене; ничто в нем уже не удивляло ее; но двойная измена графини, подруги, ее возмущала. Значит, все на свете коварны, лживы и вероломны. Слезы выступили у нее на глазах. Разбитые иллюзии иногда оплакиваешь, как покойника.

Однако она решила притвориться, что ничего не знает, закрыть душу для мимолетных привязанностей и не любить никого, кроме Поля и родителей, а ко всем остальным относиться с терпеливым спокойствием.

Приехав домой, она тотчас же бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и целый час страстно целовала его.

Жюльен вернулся к обеду, пленительный, улыбающийся, полный предупредительности.

– Разве папа и мамочка не приедут в этом году? – спросил он.

Жанна была ему так благодарна за эту любезность, что почти простила сделанное в лесу открытие, и ее охватило вдруг страстное желание поскорее увидеть два единственных существа, которых после Поля она любит больше всего на свете; она провела весь вечер за письмом к ним, убеждая их ускорить свой приезд.

Они сообщили, что приедут 20 мая. Теперь же было только 7-е число.

Жанна поджидала их с возрастающим нетерпением, словно, помимо дочерней любви, у нее явилась новая потребность приобщиться своим сердцем к их честным сердцам, поговорить откровенно с чистыми людьми, чуждыми всякой низости, вся жизнь которых, все поступки, все мысли и все желания были всегда правдивы.

То, что она чувствовала теперь, было чем-то вроде стремления оградить свою совесть от всех окружавших ее падений; хотя она сразу научилась скрытничать, хотя она встречала графиню, улыбаясь и протягивая ей руку, она все же сознавала, что ощущение пустоты и презрения к людям в ней все растет и как бы окутывает ее всю. И каждый день мелкие новости местной жизни вселяли в ее душу все большее отвращение, все большее пренебрежение к людям.

Дочь Кульяров только что родила ребенка; должна была состояться свадьба. Сирота, служанка Мартенов, была беременна; пятнадцатилетняя девушка с соседней фермы была беременна; одна вдова, бедная, хромота и противная женщина, прозванная «грязнухой», до того ужасна была ее нечистоплотность, также была беременна.

То и дело узнавали о новой беременности, о любовных проделках девушки или замужней крестьянки, матери семейства, или о шашнях богатого уважаемого фермера.

Эта бурная весна, казалось, возбуждала жизненные соки в людях так же, как и в растениях.

И Жанна, в которой чувства угасли и не волновались, сердце которой было разбито и только сентиментальная душа еще откликалась на теплые плодоносные дуновения, Жанна, грезившая, возбуждавшаяся без желаний, воодушевлявшаяся лишь мечтами, глухая к требованиям плоти, поражалась этому грязному скотству и была полна отвращения, граничившего с ненавистью.

Совокупление живых существ вызывало теперь ее негодование как нечто противоестественное, и если она сердилась на Жильберту, то не за то, что та отняла у нее мужа, а за самый факт участия во всеобщем распутстве.

Ведь она, эта женщина, не принадлежала к деревенщине, у которой господствуют низменные инстинкты. Как же могла она погрязнуть в пороке, уподобляясь всем этим животным?

В тот день, когда должны были приехать родители Жанны, Жюльен разбередил это отвращение жены, весело рассказав ей как нечто естественное и забавное, что местный булочник, услышав в тот день, когда хлеба не пекли, какой-то шум в печи, думал настичь там прилудного кота, а вместо того нашел там собственную жену, которая отнюдь «не хлебы в печь сажала».

Он прибавил:

– Булочник заложил отверстие печи, и они совсем было уж задохлись там, да сынишка булочницы позвал соседей, потому что видел, как его мать залезла в печь с кузнецом.

И Жюльен хохотал, повторяя:

– Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники! Настоящий рассказ Лафонтена!

Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.

Когда почтовая карета остановилась у подъезда и за стеклом ее дверцы показалась счастливая физиономия барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала.

Но, увидев мамочку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее огромные, одуловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью; глаза, казалось, угасли; она передвигалась, только когда ее поддерживали с обеих сторон; ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности.

Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянные удушья и возраставшую тучность, он говорил:

– Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой.

Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь; глаза ее еще были полны слез.

– О, как изменилась мамочка! Что с ней, скажи мне, что с ней?

Барон крайне удивился и отвечал:

– Тебе так кажется? Что за фантазия! Да нет же. Я постоянно при ней и уверяю тебя, что не нахожу ухудшения; она такая же, как всегда.

Вечером Жюльен сказал жене:

– Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок.

И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя:

– Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все, да это неудивительно в ее годы.

Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинувшись какому-то эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое.

Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по «своей» аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на «ее» скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила:

– Отдохнем немного; из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги.

Она почти перестала смеяться и только чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась. Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая «Коринну» или «Размышления» Ламартина; затем просила, чтобы ей принесли «ящик воспоминаний». И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои «реликвии», медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она бывала одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей.

Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставала ее плачущей, плачущей горькими слезами.

Она восклицала:

– Что с тобой, мамочка?

И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала:

– Это виноваты мои «реликвии». Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали! И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей. Как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это.

Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил:

– Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма – и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость.

Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой «ящик реликвий», повинувшись, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности.

Через несколько дней барону пришлось уехать по делу.

Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера – за лучезарными днями, лучезарные дни – за сверкающими зорями. Вскоре мамочка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жюльена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое, спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера.

Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестреющую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала Поля и страстно прижимала его к себе; иногда чудесный аромат веял на нее с лугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет? Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном; но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира.

Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него. Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрстет бородой и станет говорить звучным голосом.

Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Мариюс. Она подумала, что приехали гости, и встала, недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал:

– Сударыня, баронессе очень плохо!

Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды; она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится.

Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его.

Жанна растерянно спрашивала:

– Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором.

Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало: ни уксус, ни одеколон, ни растирания.

– Нужно ее раздеть и уложить в постель, – сказал священник.

Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось; тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю.

Пришлось принести из гостиной кресло; посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на подъезд, затем на лестницу, дошли до спальни и положили тело на постель.

Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати; она явилась неожиданно, как и священник: они словно «почуяли смерть», по выражению прислуги.

Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести миро, сиделка шепнула ему на ухо:

– Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле: она уже отошла.

Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов.

Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего, безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем.

Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение; она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся:

– Она гуляла, как всегда... чувствовала себя хорошо... даже очень хорошо... за завтраком съела бульону и два яйца... и вдруг упала... и почернела, как видите... и больше не двигалась... мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство... все...

Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та исподтишка давала понять доктору, что уже кончено, все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла:

– Это серьезно? Вы думаете, это опасно?

Наконец доктор сказал:

– Я сильно опасаюсь, что это... что это... конец. Соберитесь с мужеством, со всем мужеством.

И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери.

Вошел Жюльен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован; у него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния; он оказался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающее случаю выражение лица и позу. Он проговорил:

– Я ожидал этого, я чувствовал, что конец близок.

Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колена, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену. Но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума.

Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жюльен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле – она ведь привыкла дежурить возле усопших – и чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала.

Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и старался ободрить, изливая на ее безутешное сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела.

Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Жюльен подошел к ней:

– Это невозможно, я останусь с тобою.

Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:

– Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.

Доктор посоветовал:

– Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.

Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», – сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «Dominus vobiscum».[1]

Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом:

– Не хочешь ли закусить?

Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.

Он повторил:

– Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.

Она сказала растерянно:

– Пошли сейчас же за папой.

И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.

Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.

Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки. Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.

Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен; он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом:

– Ты не хочешь ничего поесть?

Жанна движением головы отвечала: «Нет».

Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.

Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь.

Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.

Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:

– Хочешь теперь побыть одна?

В невольном порыве она схватила его за руку:

– О да, оставьте меня.

Он поцеловал ее в лоб, сказав:

– Я буду заходить к тебе время от времени.

Он вышел с вдовой Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.

Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом.

Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.

Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.

У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.

Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.

Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество

мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.

Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!», – и весь ужас этого слова вставал перед нею.

Лежащая здесь – мать – мамочка – мама Аделаида – умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!

Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем – ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.

Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:

– О мама, бедная мама, мама!

Затем, чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться, вдохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей.

Скошенные лужайки, деревья, ланда и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла и в душу Жанны, и она принялась тихо плакать.

Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руку мамочки, словно бодрствуя над нею во время болезни.

В комнату влетело огромное насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлекенная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке.

Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочкины часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул, в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны.

Она взглянула на часы. Не было еще и половины одиннадцатого; ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь.

Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни – Розали, Жильберта, – горькие разочарования ее сердца. Все в мире – лишь страдание, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно, когда душа освободится от земных испытаний. Душа! Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти поэтических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери, душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко. Значит, где-нибудь в пространстве? Но где? Развеялась ли она подобно благоуханию засохшего цветка? Исчезла ли, как невидимая птица, выпорхнувшая из клетки?

Призвана ли она к богу? Или рассеялась неведомо где, среди новых творений, соединившись с зернами, готовыми прорасти?

Быть может, она очень близко? Быть может, реет в этой же комнате, вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею? И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точно прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смела больше ни двигаться, ни дышать, ни повернуться, чтобы взглянуть назад. Сердце ее тревожно билось.

Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены. Она задрожала с головы до ног, но, узнав жужжание крылатого насекомого, успокоилась, встала и обернулась. Ее глаза упали на секретер с головами сфинкса, где хранились «реликвии».

Нежная и странная мысль пришла ей в голову: прочесть в эту ночь последнего бдения – как священную книгу – старые письма, дорогие покойной. Ей показалось, что она совершит священный, чуткий и поистине дочерний долг и что это понравится мамочке в ином мире.

То была старая дедушкина и бабушкина переписка, которую Жанна никогда не читала. Ей хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они так же страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, тою, которая только что перестала существовать, и собою, еще оставшейся на земле.

Она встала, откинула крышку секретера и взяла из нижнего ящичка десяток маленьких свертков пожелтевшей бумаги, перевязанных в порядке и размещенных друг возле друга.

С каким-то особым смыслом она положила все их на постель, под руки баронессы, и принялась за чтение.

Это были старые послания, которые находишь в старинных фамильных секретерах, послания, от которых веет минувшим веком.

Первое письмо начиналось словами: «Моя дорогая». Второе – «Моя прелестная дочурка»; затем следовали обращения: «Дорогая малютка», «Моя крошка», «Моя обожаемая дочка», затем – «Мое дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь», – смотря по тому, были ли они адресованы к ребенку, к молодой девушке или, позже, к молодой женщине.

И все это было страстных и наивных нежностей, множества интимных мелочей, тех больших и простых домашних событий, которые кажутся столь незначительными посторонним людям: «У отца простуда; горничная Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов околел; срубили ель по правую сторону забора; мать потеряла свой молитвенник, возвращаясь из церкви, и думает, что его у нее украли».

Говорилось в них и о людях, которых Жанна не знала, но имена их она слышала в детстве, как ей смутно вспоминалось теперь.

Она была растрогана этими подробностями, которые казались ей теперь откровениями; она словно внезапно вошла во всю прошлую тайную, сердечную жизнь мамочки. Она взглянула на распростертое тело и вдруг начала читать вслух, читать для покойной, точно желая ее рассеять или утешить.

И недвижимый труп, казалось, был счастлив.

Одно за другим отбрасывала она письма в ноги кровати и подумала, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.

Она развязала еще связку. То был новый почерк. Она прочла: «Я не могу больше жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

И только; подписи не было.

Она повернула лист, не понимая. Письмо было адресовано: «Баронессе Ле Пертюи де Во».

Тогда она раскрыла следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уйдет. В нашем распоряжении будет час. Обожаю тебя».

Далее: «Я провел ночь в бреду, тщетно тоскуя по тебе. Я ощущал в своих объятиях твое тело, твой рот под моими губами, твои глаза... И я приходил в ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет...»

Жанна, смущенная, ничего не понимала.

Что это? Кому, для кого, от кого эти слова любви?

Она продолжала читать, снова находя безумные признания, просьбы о встречах, с настойчивыми советами быть осторожной, и в конце постоянно следующие четыре слова: «Непременно сожги это письмо».

Наконец она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком за подписью Поля д'Эннемара, которого барон, говоря о нем, называл до сих пор «Мой бедный старый Поль» и чья жена была лучшей подругой баронессы.

Тогда у Жанны вдруг мелькнуло легкое сомнение, тотчас же превратившееся в уверенность. Он был любовником ее матери!

И, растерявшись, она сразу одним движением отбросила эти позорные листки, как отбросила бы ядовитое животное, которое ползло по ней; она подбежала к окну и принялась отчаянно плакать, испуская невольные крики, раздиравшие ей горло; потом, совершенно разбитая, упала у стены и, пряча лицо в занавеску, чтобы не были слышны ее стоны, зарыдала, погружаясь в пропасть безысходного отчаяния.

Она осталась бы в таком положении, быть может, всю ночь, но шум шагов в соседней комнате заставил ее одним прыжком вскочить. Это, быть может, отец! А письма лежали на постели и на полу! Ему достаточно было бы развернуть первое попавшееся! И он бы узнал все это, – он!..

Она бросилась вперед и, загребая обеими руками старые пожелтевшие бумаги – и письма бабушки и дедушки, и письма любовника, и письма, ею еще не развернутые, и письма, которые еще лежали связанными в ящиках секретера, – бросила их всею грудой в камин. Потом она взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту гору писем. Вспыхнуло огромное пламя, осветив комнату, ложе и труп ярким пляшущим светом, очерчивая черной тенью по белому занавесу алькова дрожащий профиль строгого лица и силуэт огромного тела, покрытого простыней.

Когда в глубине очага остались лишь груды пепла, Жанна вернулась к открытому окну, села у него, словно не смея оставаться более возле покойницы, и, закрыв лицо руками, начала снова плакать, прерывая слезы болезненными стонами и безутешной жалобой:

– О, бедная мама, о, бедная мама!

Ужасная мысль пришла ей в голову: а что, если мамочка не умерла, что, если она только уснула летаргическим сном, что, если она вдруг встанет и заговорит? Проникновение в ужасную тайну не ослабило ли ее дочерней любви? Поцеловала ли бы она мать с прежним благоговением? Могла ли бы она любить ее той же священной любовью? Нет. Это было невозможно! И эта мысль разрывала ей сердце.

Ночь проходила; звезды бледнели; был тот свежий час, который предшествует утру. Низко стоявшая луна собиралась погрузиться в море и покрывала перламутром всю его поверхность.

И Жанну охватило воспоминание о ночи, проведенной у окна в день приезда в «Тополя». Как это было далеко, как все переменялось, каким иным казалось ей теперь будущее!

И вот небо стало розовым, радостно-розовым, влюбленным, пленительным. Она смотрела, удивляясь теперь, словно какому-то феномену, этому лучезарному рассвету, и спрашивала себя, возможно ли, чтобы на этой земле, где встанут такие зори, не было ни радости, ни счастья.

Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. То был Жюльен, он спросил:

– Ну как, ты не очень устала?

Она ответила «нет», радуясь тому, что она уже не одна.

– Теперь пойді поспи, – сказал он.

Она поцеловала мать долгим, болезненным, мучительно-печальным поцелуем и ушла в свою комнату.

День прошел в тех грустных заботах, которых требует покойник. Барон приехал к вечеру. Он очень плакал.

Похороны происходили на другой день.

Прижавшись в последний раз губами к ледяному лбу матери, совершив ее последний туалет и увидав, как забивают гроб, Жанна удалилась. Должны были явиться приглашенные.

Жильберта приехала первая и с рыданиями бросилась на грудь подруги.

В окно были видны экипажи, которые сворачивали у решетки и быстро подкатывали к дому. В огромной прихожей раздавались голоса. В комнату входили одна за другой женщины в черном, которых Жанна не знала. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее.

Она заметила вдруг, что тетя Лизон крадется сзади нее. И Жанна обняла ее с такой нежностью, что старая дева едва не лишилась чувств.

Жюльен вошел в глубоком трауре, элегантный, озабоченный и довольный притоком людей. Он шепотом говорил с женой, о чем-то советуясь. Затем конфиденциально прибавил:

– Приехала вся знать, это очень хорошо!

И удалился, важно кланяясь дамам.

Тетя Лизон и графиня Жильберта оставались возле Жанны все время, пока длился обряд. Графиня непрерывно ее обнимала, повторяя:

– Дорогая моя бедняжка, дорогая бедняжка!

Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он плакал, словно сам потерял родную мать.

Печальны были следующие дни, те мрачные дни, когда дом кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, дни, истерзанные страданиями при каждом взгляде на любой предмет, которым постоянно пользовался умерший. Ежеминутно в сердце возникает какое-нибудь мучительное воспоминание. Вот его кресло, его зонтик, оставшийся в передней, его стакан, не убраный прислугой! И во всех комнатах еще лежат в беспорядке его вещи: ножницы, перчатки, книга, к страницам которой прикасались его отяжелевшие пальцы, множество мелочей, приобретающих болезненное значение, потому что они напоминают тысячу мелких фактов.

И голос его преследует вас; кажется, будто его слышишь; хочется бежать неведомо куда, уйти от наваждений этого дома. Но надо оставаться, потому что другие остаются и так же страдают.

Кроме того, Жанна была подавлена воспоминанием о своем открытии. Эта мысль угнетала ее; израненное сердце не исцелялось. Ее теперешнее одиночество еще более возрастало от этой ужасной тайны; последнее доверие к людям было подорвано вместе с последней верой.

Отец спустя некоторое время уехал; ему нужно было движение, перемена обстановки, нужно было отвлечься от черной печали, им овладевавшей все более и более.

И огромный дом, которому, таким образом, приходилось время от времени быть свидетелем исчезновения то одного, то другого из своих хозяев, снова зажил спокойной и размеренной жизнью.

Неожиданно заболел Поль. Жанна ходила с ума, не спала в течение двенадцати ночей, почти не ела.

Он выздоровел, но она так и осталась напуганной мыслью о том, что ведь он мог умереть! Что станет она тогда делать? Что с ней будет? И в ее сердце незаметно закралась смутная потребность иметь еще ребенка. Вскоре она стала мечтать об этом, и ее опять захватило давнишнее желание видеть около себя два маленьких существа, мальчика и девочку. Это стало ее навязчивой мыслью.

Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Жюльена. Попытка сблизиться казалась даже невозможной в том положении, в котором они находились. Кроме того, у Жюльена были любовные связи; она это знала, и одна мысль подвергнуться снова его ласкам вызывала в ней дрожь отвращения.

Впрочем, она подчинилась бы этому: до того сильно преследовало ее желание стать матерью; но она задавала себе вопрос: как могли бы снова возобновиться их поцелуи? Она скорее умерла бы от унижения, чем позволила бы мужу угадать свои мечты, он же, по-видимому, о ней больше не думал.

Она и отказалась бы, может быть, от этого, но дочка стала сниться ей каждую ночь; она видела ее играющей с Полем под платаном и иногда ощущала непреодолимое желание встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в его комнату. Два раза она даже дошла до его двери, но затем быстро вернулась, и сердце ее билось от стыда.

Барон уехал; мамочка умерла; Жанне не с кем было теперь посоветоваться, некому доверить свои задушевные тайны.

Тогда она решила отправиться к аббату Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые ее так затрудняли.

Она застала его за чтением требника, в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями.

Поговорив несколько минут о том, о другом, она пролепетала, покраснев:

– Я хотела бы исповедаться, господин аббат.

Он был удивлен и поправил очки, чтобы хорошенько взглянуть в нее, потом рассмеялся:

– У вас, однако, не должно быть на совести больших грехов.

Она окончательно смутилась и отвечала:

– Нет, но мне нужно попросить у вас совета в таком... таком... трудном деле, что я не смею говорить с вами о нем иначе, как...

Он тотчас же оставил свой добродушный вид и превратился в священнослужителя:

– Хорошо, дитя мое, я выслушаю вас в исповедальне; пойдете.

Но вдруг она остановила его, заколебавшись, удерживаемая какой-то щепетильностью, мешавшей ей говорить о таких несколько зазорных вещах в тишине пустой церкви:

– Или нет... господин кюре... я могу... могу... если хотите... сказать здесь, что меня к вам привело. Давайте сядем с вами там, в вашей беседочке.

Они медленно направились туда. Она думала, как ей высказаться, с чего начать. Они сели.

Тогда, словно исповедуясь, она заговорила:

– Отец мой...

Она запнулась, снова повторила: «Отец мой...» – и умолкла, окончательно смутившись.

Он ждал, скрестив руки на животе. Видя ее замешательство, он ободрил ее:

– Ну, дочь моя, можно подумать, что у вас не хватает смелости; будьте же мужественны.

Тогда она решилась, как трус, бросающийся навстречу опасности:

– Отец мой, я хотела бы иметь еще ребенка.

Он не отвечал, ничего не понимая. Тогда она объяснила, растерянно путаясь в словах:

– Я осталась совсем одна; мой отец и муж не ладят между собой; мама умерла, и... и... – Она произнесла еле слышно и вся дрожа: – На днях я чуть не лишилась сына! Что было бы тогда со мной?

Она умолкла. Священник в замешательстве смотрел на нее.

– Хорошо, расскажите же, в чем дело.

Она повторила:

– Я желала бы иметь еще ребенка.

Тогда он улыбнулся – он привык к сальным шуткам крестьян, несколько не стеснявшихся перед ним, – и отвечал, лукаво кивнув:

– Мне кажется, тут дело только за вами.

Она подняла на него свои чистые глаза и, запинаясь от волнения, промолвила:

– Но... но... вы понимаете, что с той минуты... с той минуты... вы знаете... об этой горничной... мы с мужем, мы живем... мы живем совершенно врозь.

Привыкнув к распушенности деревенских нравов, чуждых всякого достоинства, он удивился этому открытию, а затем ему показалось вдруг, что он угадал истинное желание молодой женщины. Он взглянул на нее искоса, полный доброжелательности и сочувствия к ее горю:

– Да, я вполне понимаю. Я понимаю, что ваше... ваше вдовство тяготит вас. Вы молоды, здоровы. В конце концов, это естественно, слишком естественно. – Он улыбнулся, уступая своей игривой натуре деревенского священника, и тихонько похлопал Жанну по руке: – Это дозволено, вполне дозволено заповедями: «Плотские желания будешь иметь только в браке». Вы замужем, не правда ли? Так ведь не затем же вы вышли замуж, чтобы сажать репу.

Она тоже не поняла сначала его намеков; но едва постигнув их смысл, она покраснела от волнения до корней волос, и на глазах у нее выступили слезы.

– О, господин кюре, что вы говорите? Что вы подумали? Клянусь вам... Клянусь вам...

Рыдания душили ее.

Он был изумлен и стал утешать ее:

– Ну вот, я не хотел огорчать вас. Я немного пошутил: не возбраняется же это порядочному человеку. Но рассчитывайте на меня, можете вполне рассчитывать на меня. Я поговорю с господином Жюльеном.

Она не знала, что ответить. Ей хотелось теперь отказаться от его вмешательства; оно казалось ей неудобным и опасным. Но она не посмела и убежала, пролепетав:

– Благодарю вас, господин кюре.

Прошла неделя. Она жила в тоске и тревоге.

Однажды вечером, за обедом, Жюльен взглянул на нее как-то странно, с той улыбочкой на губах, которую Жанна знала за ним в минуты насмешливости. У него появилась даже неувлимо-ироническая любезность к ней, а когда они прогуливались по широкой мамочкиной аллее, он тихонько сказал ей на ухо:

– Мы, кажется, помирились?

Она не отвечала. Она разглядывала на земле прямую линию, почти невидимую теперь и поросшую травой. То был след ноги баронессы, постепенно стиравшийся, как стирается всякое воспоминание. И Жанна почувствовала, что ее сердце, полное печали, мучительно сжалось; она почувствовала себя бесконечно одинокой и всем чужой.

Жюльен продолжал:

– Я-то лучшего и не желаю. Я боялся, что уже не нравлюсь тебе.

Солнце садилось, воздух был мягкий. Жанну томило желание плакать, потребность излиться дружескому сердцу, потребность сжать кого-

нибудь в объятиях, шепча о своем горе. Рыдания подступали к ее горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльена.

Она плакала. Удивленный, он смотрел на ее волосы, потому что не мог увидеть ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она еще любит его, и запечатлел на ее прическе снисходительный поцелуй.

Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошел за нею в ее спальню и провел с нею ночь.

И прежние отношения их возобновились. Он выполнял их словно обязанность, хотя и не такую уж неприятную; она терпела их как мучительную необходимость, решив прекратить их раз навсегда, едва лишь почувствует себя снова беременной.

Но вскоре она заметила, что ласки мужа как будто отличаются от прежних. Они, быть может, стали утонченнее, но были менее полными. Он обращался с нею словно робкий любовник, а вовсе не как спокойный супруг.

Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что его объятия всегда прекращаются раньше, чем она могла бы быть оплодотворена.

Однажды ночью, прильнув губами к его губам, она прошептала:

– Почему ты не отдаешься мне больше целиком, как прежде?

Он рассмеялся:

– Черт возьми, да чтобы ты не забеременела!

Она задрожала:

– Почему же ты не хочешь еще детей?

Он замер от удивления:

– Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла! Второго ребенка? Ну нет, вот еще! Вполне довольно и одного. Он и без того пищит, поглощает общее внимание и стоит денег. Еще ребенка! Благодарю покорно!

Она порывисто обняла его, поцеловала и, расточая ласки, шепнула чуть слышно:

– О, умоляю тебя, сделай меня матерью еще раз.

Но он рассердился, словно она его оскорбила:

– Ты, право, сходишь с ума. Избавь меня, пожалуйста, от таких глупостей.

Она умолкла и дала себе обещание, что вынудит у него хитростью то счастье, о котором мечтает.

Она попробовала удлинить ласки, играя комедию безумного пыла, прижимая его к себе судорожно сведенными руками в притворных порывах страсти. Она пустила в ход все уловки, но он владел собою и ни разу не забылся.

Тогда, все более и более мучимая ожесточенным желанием, доведенная до крайности, готовая пренебречь всем и на все дерзнуть, она снова отправилась к аббату Пико.

Он только что позавтракал и был очень красен, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев ее, он воскликнул: «Ну как?», – горя нетерпением узнать о результате своего посредничества.

На этот раз она была решительнее и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости:

– Мой муж не желает больше детей.

Аббат, чрезвычайно заинтересованный, повернулся к ней, готовясь с поповским любопытством накинуться на эти альковные тайны, которые так забавляли его в исповедальне. Он спросил:

– Как это?

Теряя свою решительность, она с волнением разъяснила:

– Но... он... он... отказывается сделать меня матерью...

Аббат понял; он знал эти вещи. Он пустился в расспросы со всеми точными и мелочными подробностями, с жадностью человека, обреченного на воздержание.

Затем он пораздумал несколько минут и спокойным тоном, словно говоря о хорошем урожае, начертал ей искусный план поведения, отмечая все пункты:

– Остается только один выход, дитя мое, а именно убедить его в том, что вы уже беременны. Он перестанет остерегаться, и вы забеременеете взаправду.

Она покраснела до слез, но, решившись на все, настаивала:

– А... если он не поверит мне?

Кюре хорошо знал способы управлять людьми и держать их в руках.

– Объявите всем о вашей беременности, говорите о ней повсюду; в конце концов и он поверит. – И он прибавил, словно для того, чтобы оправдать эту военную хитрость: – Это ваше право. Церковь терпит плотскую связь между мужчиной и женщиной только ради рождения детей.

Она последовала хитроумному совету и две недели спустя объявила Жюльену, что считает себя беременной.

Он так и подскочил:

– Не может быть! Неправда!

Она указала на причину своих подозрений; тем не менее он тут же успокоился:

– Ничего, подожди немного. Там видно будет.

Потом каждое утро спрашивал:

– Ну, что же?

И она неизменно отвечала:

– Нет, все еще нет. Я уже не сомневаюсь, что беременна.

Он тоже беспокоился и был в такой же степени разгневан и раздосадован, как и удивлен. Он твердил:

– Ничего не понимаю, ровно ничего! Пусть меня повесят, если я знаю, как это могло случиться!

Через месяц она рассказывала новость всем и каждому, за исключением графини Жильберты – из чувства какой-то сложной и деликатной стыдливости.

С минуты первого признания жены Жюльен не приближался больше к ней; но затем он с яростью покорился своей участи, заявив:

– Еще один непрошенный!

И снова стал приходить в комнату жены.

То, что предвидел священник, сбылось в точности. Она забеременела.

Тогда, полная безумной радости, она стала каждый вечер запирать свою дверь, посвящая себя вечному целомудию в порыве благодарности неведомому божеству, которому она поклонялась.

Она снова чувствовала себя почти счастливою, удивляясь тому, как быстро стихла ее скорбь после смерти матери. Она считала тогда себя безутешной, а между тем всего за каких-нибудь два месяца эта живая рана затянулась. Осталась только нежная печаль, словно какой-то покров горести, накинутый на ее жизнь. Ей казалось, что в жизни ее уже невозможны какие-нибудь крупные события. Дети вырастут, будут ее любить; она состарится, спокойная, довольная, не интересуясь больше мужем.

В конце сентября аббат Пико приехал с церемонным визитом в новой сутане, пятна на которой были всего лишь недельной давности; он представил Жанне своего преемника, аббата Тольбьяка. То был совсем еще молодой, худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью; впалые глаза, окаймленные черными кругами, выдавали в нем страстную душу.

Старого кюре назначили благочинным в Годервиль.

Жанна была искренне огорчена, узнав о его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспоминаниями молодой женщины. Он венчал ее, он крестил Поля, он отпевал баронессу. Она не представляла себе Этувана без пузатого аббата Пико, проходящего вдоль дворов ферм; она любила его за жизнерадостность и непринужденность.

Несмотря на повышение, он не казался веселым. Он говорил:

– Тяжело мне это, тяжело, графиня. Вот уже восемнадцать лет, как я здесь. Что и говорить, приход малоодоходный и мало чего стоит. Мужчины малорелигиозны, а женщины... женщины, право же, невозможного поведения. Девушки идут в церковь венчаться не иначе, как уже совершив паломничество к «богоматери брюхатых», и померанцевые цветы невысоко ценятся в этом краю. Но что же поделать, – я любил его.

Новый кюре покраснел и проявил явное нетерпение. Он сказал резко:

– При мне все это переменится.

Хрупкий и худой, в поношенной, но чистой сутане, он походил на взбалмошного ребенка.

Аббат Пико взглянул на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и сказал:

– Видите ли, аббат, чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших прихожан на цепь; да и такая мера ни к чему не поведет.

Маленький священник отвечал отрывисто:

– Это еще посмотрим.

Старый кюре улыбнулся, втягивая понюшку табаку.

– Годы успокоят вас, аббат, и опыт также; вы оттолкнете от церкви своих последних прихожан, вот и все. В этом краю веруют, но, скажу я вам, берегитесь! Честное слово, когда я вижу, что во время проповеди входит несколько растолстевшая девушка, я только говорю себе: «Она приведет ко мне лишнего прихожанина» – и стараюсь выдать ее замуж. Вы не мешаете им грешить, но можете разыскать парня и мешать ему бросить молодую мать. Жените их, аббат, жените их и не притязайте на большее.

Новый кюре жестко ответил:

– Мы по-разному думаем, бесполезно спорить.

Тогда аббат Пико снова принялся жалеть о своей деревне, о море, которое он видел из окон своего дома, о маленьких воронкообразных долинах, куда он ходил читать требник, глядя, как вдали проплывают лодки.

Священники откланялись. Старый кюре поцеловал Жанну, и она чуть не расплакалась.

Неделю спустя аббат Тольбьяк пришел снова. Он говорил о предполагаемых преобразованиях с торжественностью государя, вступающего во владение королевством. Затем он попросил виконтессу не пропускать воскресной службы и причащаться каждый праздник.

– Мы с вами, – сказал он, – представляем собою вершину всей округи; мы должны управлять ею и подавать пример. Нам нужно объединиться, чтобы быть сильными и уважаемыми. Если церковь и замок подадут друг другу руки, хижина будет бояться нас и будет нам повиноваться.

Религия Жанны была целиком основана на чувстве; это была та мечтательная вера, которая особенно присуща женщинам, и если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря, потому что фрондирующая философия отца уже давно поколебала ее веру.

Аббат Пико довольствовался тем немногим, что она могла ему дать, и никогда не журил ее. Но его преемник, не увидев ее за обедней в предыдущее воскресенье, прибежал к ней, обеспокоенный и суровый.

Ей не хотелось порывать с приходом, и она дала обещание, решив из любезности быть усердной первые недели.

Но мало-помалу она привыкла к церкви и подчинилась влиянию этого хрупкого, честного и властного аббата. Он был мистик и нравился ей своей экзальтацией и горением. Он будил в ней струны религиозной поэзии, живущей в душе каждой женщины. Его неумолимая суровость, его презрение к миру и чувственности, его отвращение к заботам человеческим, его любовь к богу, его юношеская дикость и неопытность, его суровая речь и непоколебимая воля создавали у Жанны представление о том, каким должны были быть мученики; и она, страдалница, простившаяся с иллюзиями, дала увлечь себя суровому фанатизму этого ребенка, этого слуги неба.

Он вел ее к Христу-утешителю, поучая тому, как благочестивые радости религии умиротворяют все страдания; и она преклоняла колена в исповедальне, смиряясь, чувствуя себя маленькой и слабой перед этим священником, которому на вид было не более пятнадцати лет.

Но вскоре вся деревня возненавидела его.

Непреклонно строгий к самому себе, он выказывал неумолимую нетерпимость и по отношению к другим. Одна вещь в особенности возбуждала в нем гнев и негодование: это любовь. Он запальчиво говорил о ней в своих проповедях, прибегал к резким выражениям, согласно церковному обычаю, бросая в толпу деревенских жителей громовые речи против похоти; он дрожал от ярости, топал ногами, и ум его находился во власти неотвязных образов, которые он вызывал в своем исступлении.

Взрослые парни и девушки лукаво переглядывались, а старики крестьяне, всегда любившие пошутить на эти темы, высказывали неодобрение нетерпимости маленького кюре, когда возвращались домой на ферму после службы вместе с сыном, одетым в голубую блузу, и фермершей в черной накидке. И вся местность была в волнении.

Шепотом передавали друг другу о его строгостях в исповедальне, о суровых наказаниях, которые он налагал; а так как он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, невинность которых уступала искушениям, над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными мессами молодежь вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху.

Вскоре он стал шпионить за влюбленными, чтобы мешать их свиданиям, наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из канав, из-за овинов, из зарослей дрока, растущего по склонам холмов.

Однажды он застиг парочку, которая, увидев его, не хотела разлучаться; обнявшись и целуясь, они шли по оврагу, полному камней.

Аббат крикнул:

– Перестанете вы или нет, мужичье?

А парень, обернувшись, ответил ему:

– Занимайтесь своими делами, господин кюре, а наши вас не касаются.

Тогда аббат набрал камней и стал бросать в них, точно в собак.

Они со смехом убежали, а в следующее воскресенье он огласил их имена в церкви перед прихожанами.

Все местные парни перестали посещать службу.

Кюре обедал в замке каждый четверг и часто заезжал на неделю беседовать со своей духовной дочерью. Она приходила в возбуждение подобно ему, обсуждая отвлеченные темы, и перетряхивала весь старый и сложный арсенал религиозных споров.

Они вдвоем прогуливались по большой аллее баронессы, разговаривая о Христе и апостолах, о святой деве и об отцах церкви, словно о своих знакомых. Они останавливались иногда, задавая себе глубокомысленные вопросы, которые погружали их в мистицизм, причем она отдавалась поэтическим доводам, взлетающим к небу, словно ракеты, а он обращался к точной аргументации, как маньяк, решившийся математически доказать квадратуру круга.

Жюльен относился к новому кюре с большим почтением и беспрестанно говорил:

– Мне нравится этот священник; он не вступает в сделки.

И он по доброй воле исповедовался и причащался, щедро подавая благой пример.

Жюльен бывал теперь у Фурвилей почти ежедневно, охотясь с мужем, который не мог уже без него обходиться, и ездя верхом с графиней, несмотря на дождь и дурную погоду.

Граф говорил:

– Они помешались на верховой езде, но это так полезно Жильберте.

Барон вернулся в середине ноября. Он изменился, постарел, поблек и был погружен в мрачную печаль, завладевшую его душой. Но его отеческая любовь к дочери теперь, казалось, только усилилась, словно эти несколько месяцев угрюмого одиночества обострили в нем потребность в привязанности, в доверии, в нежности.

Жанна не делилась с ним своими новыми мыслями, не говорила ему о дружбе с аббатом Тольбьяком и о своем религиозном рвении, но с первого же раза, когда барон увидел Тольбьяка, в нем пробудилась сильная неприязнь к аббату.

Когда молодая женщина спросила у него вечером:

– Как ты его находишь?

Он отвечал:

– Этот человек – инквизитор! Он, должно быть, очень опасен.

Когда же он узнал от крестьян, с которыми был дружен, о суровости молодого священника, о его неистовстве, о том своеобразном гонении, которое он воздвиг против законов и врожденных инстинктов человека, в сердце барона вспыхнула ненависть.

Сам он принадлежал к числу старых философов, поклонников природы; он умилялся при виде соединения двух животных, преклонялся перед божеством пантеистов и восставал против католического представления о боге, обладающем мещанскими стремлениями, иезуитским гневом и мстительностью тирана, боге, который умалял в его глазах творение predetermined, роковое, безграничное, – всемогущее творение, воплощающее жизнь, свет, землю, мысль, растение, скалу, человека, воздух, зверя, звезды, бога, насекомое; все это тоже творит, ибо само оно – творение, сильнее воли, безграничной рассуждения, и производит бесцельно, беспричинно, бесконечно во всех направлениях и во всех видах, в беспредельном пространстве, следуя влечениям случая и соседству солнц, согревающих миры.

Творение таит в себе все зародыши: мысль и жизнь развиваются в нем, как цветы и плоды на деревьях.

Для барона, следовательно, воспроизведение было великим всеобщим законом, священным, достойным уважения, божественным актом, выполняющим неясную, но постоянную волю вездесущего существа. И он, от фермы к ферме, повел страстную войну против нетерпимого священника, гонителя жизни.

Жанна в отчаянии молилась господу и уговаривала отца, но тот постоянно отвечал:

– С такими людьми надо бороться, это – наше право и наш долг. В них нет человечности.

И, потрясая длинными седыми волосами, повторял:

– В них нет человечности; они ничего, ничего, ничего не понимают. Они действуют в роковом ослеплении; они враждебны природе.

И он выкрикивал: «Враждебны природе!» – словно бросал проклятия.

Священник открыто чувствовал в нем врага, но, желая сохранить за собой власть над замком и молодой женщиной, медлил, тем более что был уверен в конечной победе.

Кроме того, его преследовала неотвязная мысль: он случайно открыл любовь Жюльена и Жильберты и хотел положить ей конец какой угодно ценой.

Однажды он пришел к Жанне и после долгой мистической беседы попросил ее объединиться с ним, чтобы побороть и убить зло в ее собственной семье ради спасения двух душ, которым грозит опасность.

Она не поняла и попросила объяснения. Он ответил:

– Время еще не наступило, но я скоро приду к вам.

И порывисто ушел.

Зима в то время подходила к концу: это была гнилая зима, как говорят в деревне, – сырая и теплая.

Несколько дней спустя аббат пришел и заговорил в неясных выражениях о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы быть безупречными. Следует, поучал он, тем, кто знает об этих обстоятельствах, прекратить их любыми способами. И он пустился в возвышенные рассуждения, после чего, взяв руку Жанны, принялся заклинять ее, чтобы она раскрыла глаза, поняла и помогла ему.

На этот раз она поняла, но молчала, испуганная мыслью о том, сколько мучительного может произойти в ее доме, таком спокойном теперь; и она притворилась, будто не понимает, на что намекает аббат. Тогда он перестал колебаться и заговорил без обиняков:

– Мучительную обязанность должен я выполнить, графиня, но не могу поступить иначе. Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать. Знайте же, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль.

Она поникла головой покорно и обессиленно.

Священник спросил:

– Что намерены вы делать теперь?

Она пролепетала:

– Что же вам угодно, чтобы я сделала, господин аббат?

Он отвечал с яростью:

– Нужно пресечь эту преступную страсть.

Она заплакала и сказала с невыразимой мукой:

– Но ведь он уже изменял мне с горничной; он меня не слушает; он меня разлюбил; он оскорбляет меня, как только я выражаю любое желание, с которым он не согласен. Что могу я поделать?

Кюре, не отвечая прямо, воскликнул:

– Как, вы склоняетесь перед этим! Вы смиряетесь! Вы соглашаетесь! Прелюбодеяние гнездится под вашим кровом, и вы его терпите! Преступление совершается на ваших глазах, и вы отводите от него взор! Жена ли вы после этого, христианка ли, мать ли?

Она рыдала:

– Что же мне делать?

Он ответил:

– Все, что угодно, лишь бы не допустить этой гнусности. Все, говорю вам. Покиньте его. Бегите из этого оскверненного дома.

Она промолвила:

– Но у меня нет денег, господин аббат; к тому же у меня не хватит на это мужества, да и как могу я уйти без доказательств? Я не имею никакого права так поступить.

Священник поднялся, весь дрожа от бешенства:

– Эти советы вам нашептывает трусость, сударыня; я считал вас другою. Вы недостойны милосердия господнего.

Она упала на колени:

– О, умоляю вас, не оставляйте меня, подайте мне совет.

Он произнес отрывисто:

– Откройте глаза господину де Фурвиль. Ему надлежит разорвать эту связь.

При этой мысли ее охватил ужас.

– Но он убьет их, господин аббат! А я окажусь доносчицей! О, только не это! Ни за что!

Тогда он, весь дрожа от гнева, поднял руку, словно затем, чтобы проклясть ее:

– Пребывайте же в вашем позоре и преступлении, ибо вы более виновны, чем они. Вы только потакаете мужу! Мне больше нечего здесь делать!

И он вышел в таком бешенстве, что все тело его сотрясалось нервной дрожью.

Она пошла вслед за ним, вне себя, готовая уступить, начиная давать обещания. Но он, все еще дрожа от возмущения, шел быстрыми шагами, яростно размахивая своим большим синим зонтиком, почти одного роста с ним.

Он увидел Жюльена, который стоял у забора, руководя стрижкой деревьев; тогда он свернул налево, чтобы пройти через ферму Кульяров, продолжая повторять:

– Оставьте, сударыня, мне больше нечего вам сказать.

Посреди двора, как раз на его пути, кучка детей из этого дома и из соседних толпилась вокруг конуры собаки Мирзы, с интересом, сосредоточенно и молча разглядывая что-то. Среди них находился барон, также смотревший с любопытством, заложив руки за спину. Он походил на школьного учителя. Но, завидев аббата, он поспешил отойти, чтобы избежать с ним встречи, не кланяться и не разговаривать.

Жанна говорила с мольбой:

– Дайте мне несколько дней на размышление, господин аббат, и придите снова в замок. Я сообщу вам о том, что смогу сделать и что успею предпринять; тогда мы все обсудим.

Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек, и юре подошел посмотреть, что их так занимает. Это щенилась сука. Перед конурой копошились уже пять щенят, а мать, с нежностью вылизывавшая их, растянулась на боку, вконец измученная. В то самое мгновение, когда священник наклонился над нею, скорченное животное вытянулось, и на свет появился шестой щенок. И тут все мальчишки в восторге начали кричать, хлопая в ладоши:

– Вот еще один, еще один!

Для них это была забава, естественная забава, в которой нет ничего нечистого. Они наблюдали это рождение, как глядели бы на падение яблок с дерева.

Аббат Тольбьяк сначала оторопел, а затем, охваченный слепой яростью, поднял свой большой зонт и начал изо всей силы колотить им по головам собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись улепетывать со всех ног, и аббат внезапно очутился перед собакой-роженицей, пытавшейся приподняться. Но он не дал ей встать на ноги и, обезумев, начал неистово избивать ее. Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать и только отчаянно скулила и металась под его ударами. Он переломил зонт и, отбросив его, вскочил на нее, исступленно топча, давя и избивая ее ногами. Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но аббат бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела, которое еще трепыхалось среди новорожденных пискунов, слепых и неловких, искавших уже сосков матери.

Жанна убежала, а священник почувствовал вдруг, что его схватили за шиворот; сильная пощечина сбила с него треуголку, и барон, вне себя от ярости, дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу.

Когда г-н Ле Пертюи обернулся, он увидел дочь, которая, стоя на коленях, рыдала среди щенят и подбирала их себе в юбку. Он подошел к ней крупными шагами и крикнул, возбужденно жестикулируя:

– Вот он каков, вот он каков, твой поп! Поняла ты его теперь?

Сбежались фермеры: все смотрели на изуродованное тело собаки. Тетка Кульяр воскликнула:

– Можно ли быть таким дикарем?

Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить.

Им попробовали дать молока; трое околели на следующий день. Тогда дядя Симон избегал всю округу, ища оценившуюся собаку. Он не нашел ее, зато принес кошку, уверяя, что она годится для этого дела. Трех щенят утопили, а последнего отдали этой кормилице чужой породы. Она тотчас же усыновила его и, улегшись на бок, протянула ему свои сосцы.

Чтобы щенок не истощил чрезмерно свою приемную мать, его отняли от груди через две недели, и Жанна сама взялась кормить его с помощью соски. Она назвала его Тото. Но барон самовластно изменил его имя и окрестил его Массакром.

Аббат не приходил больше, но в следующее воскресенье ниспослал с церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка; он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскаленным железом, предавал анафеме барона (который над этим посмеялся) и в замаскированных намеках, пока еще робко, коснулся нового увлечения Жюльена. Виконта это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев.

С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей мести, пророча, что час божий близок и что враги его будут низвергнуты.

Жюльен написал почтительное, но энергичное письмо архиепископу. Аббату Тольбьяку пригрозили лишением сана. Он умолк.

Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с исступленным видом одержимого. Жильберта и Жюльен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдаль, в виде черной точки на равнине, то на краю утеса, то в тесной лощинке, где он читал свой требник и куда они только что собирались въехать. Они поворачивали поводья, чтобы не проезжать мимо него.

Настала весна, оживившая их любовь, бросавшая их ежедневно в объятия друг другу то здесь, то там, под любым прикрытием, куда только ни завлекали их поездки.

Листва на деревьях была еще редкой, а трава слишком влажной, и им нельзя было углубляться, как в разгаре лета, в лесную чащу, поэтому убежищем для своих объятий они обычно выбирали передвижную пастушью хижину, оставленную с осени на вершине Вокотского холма.

Она стояла там совершенно одиноко на своих высоких колесах, неподалеку от скалистого берега, на том именно месте, где начинается спуск к долине. Они не могли быть застигнуты там врасплох, так как видели оттуда всю долину; а лошади, привязанные к оглоблям хижины, ожидали, пока они не утомятся ласками.

Но вот однажды, в ту минуту, когда они покидали это убежище, они заметили аббата Тольбьяка, сидевшего в зарослях дрока, почти скрывавших его.

– Придется оставлять лошадей в овраге, – сказал Жюльен, – иначе они могут нас выдать издали.

Они стали привязывать лошадей в лощинке, густо поросшей кустарником.

Как-то вечером, когда они возвращались вдвоем в замок Врильет, где должны были обедать вместе с графом, навстречу им попался этуванский кюре, выходивший из замка. Он отступил в сторону, чтобы дать им дорогу, и поклонился, избегая встречаться с ними взглядом.

Их охватило беспокойство, но оно вскоре рассеялось.

Однажды под вечер, когда было очень ветрено, Жанна сидела у камина и читала (было начало мая), как вдруг увидела графа де Фурвиля, шедшего пешком и так быстро, что она подумала, не случилось ли несчастья.

Она быстро сошла вниз, чтобы его принять, и, очутившись перед ним, подумала, что он сошел с ума. На нем была большая меховая фуражка, которую он носил только дома; он был одет в охотничью куртку и так бледен, что его рыжие усы, обычно не выделявшиеся на румяном лице, казались теперь огненными. Глаза его растерянно блуждали и как будто были лишены всякой мысли.

Он спросил:

– Жена моя здесь, не правда ли?

Жанна растерянно отвечала:

– Нет, я не видела ее сегодня.

Тогда он сел, словно под ним подкосились ноги, снял фуражку и несколько раз подряд машинально вытер себе платком лоб; затем, рывком поднявшись, подошел к молодой женщине, протянув руки, раскрыв рот, готовясь сказать, доверить ей какое-то ужасное горе, но остановился, пристально взглянул на нее и выговорил, словно в бреду:

– Но ведь это ваш муж... вы также...

И убежал по направлению к морскому берегу.

Жанна бросилась за ним, чтобы остановить его, звала его, умоляла с замирающим от ужаса сердцем и думала: «Он узнал все! Что он собирается сделать? О, только бы он их не нашел!»

Но она не могла догнать его, а он ее не слушал.

Он прямо, не колеблясь, уверенно направлялся к своей цели. Перепрыгнув через ров, а затем гигантскими шагами пробравшись сквозь заросли дрока, он достиг скалистого берега.

Жанна, стоя на откосе, поросшем деревьями, долго следила за ним; потом, потеряв его из виду, пошла к дому, мучимая тоской.

Он повернул направо и пустился бежать. По беспокойному морю катились волны; огромные, совершенно черные тучи надвигались с безумной быстротой, пронеслись мимо, а за ними следовали другие; каждая из них бороздила береговой склон бешеным ливнем. Ветер свистел, рыдал, рвал траву, пригибал к земле молодые побеги хлебов и уносил, словно хлопья пены, больших белых птиц, увлекая их далеко в глубь материка.

Граф, поспавшийся за дождем, хлестал графа по лицу, мочил его щеки и усы, с которых стекала вода, наполняя его уши шумом, а сердце тревогою.

Вдали перед ним долина Вокот раскрывала свою глубокую пасть. Ничего, кроме пастушьей хижины, рядом с пустым загонем для баранов! Две лошади были привязаны к оглоблям передвижного домика. Чего им было опасаться в эту бурю?

Как только граф увидел лошадей, он лег на землю и пополз на руках и коленях, напоминая какое-то чудовище своим запачканным в грязи телом и меховой фуражкой. Он дополз до одинокой хижины и спрятался под нею, чтоб не быть замеченным сквозь щели досок.

Лошади, увидев его, заволновались. Он тихо перерезал их поводья ножом, который держал в руке, и, когда налетел вдруг шквал, животные обратились в бегство, подстегиваемые градом, начавшим хлестать по покатой крыше деревянного домика, который весь дрожал.

Тогда граф, приподнявшись на колени, заглянул через щель под дверью внутрь хижины.

Он не двигался больше; казалось, он ждал. Прошло довольно много времени; вдруг он встал, весь в грязи с головы до ног. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, и, схватившись за оглобли, принялся трясти эту хижину, словно собираясь разбить ее в куски. Затем вдруг впрягся в оглобли и, согнувшись, с отчаянным усилием, задыхаясь, он подвез к крутому склону передвижной домик и тех, кто в нем был заперт.

Они кричали внутри, стуча кулаками по дощатым стенам, не понимая, что с ними случилось.

Добравшись до вершины, граф выпустил из рук легкую хижину, покотившуюся вниз по отлогому склону.

Она все ускоряла свой бег, безумно несясь, летя все быстрее и быстрее, прыгая, спотыкаясь, как животное, колотя землю оглоблями.

Старик нищий, прикорнувший во рву, видел, как она пронеслась, словно вихрь, над его головой, и слышал ужасные крики, раздававшиеся из деревянного ящика.

Вдруг из-за толчка у домика отскочило колесо, он упал на бок и заскакал, как шар, как обрушившийся дом, летящий с вершины горы. Затем, достигнув края последней рытвины, он подпрыгнул, описывая дугу, и, упав вниз, треснул, как яйцо.

Как только домик разбился о каменистую почву, старик нищий, видевший, как он летел, стал медленными шажками спускаться сквозь терновник; удерживаемый осторожностью крестьянина, он не посмел приблизиться к разбитому в щепки ящику, а пошел на соседнюю ферму сообщить о происшествии.

Прибежали люди, стали разбирать обломки и увидели два тела, изуродованных, израненных, окровавленных. У мужчины был раздроблен лоб и изувечено лицо. У женщины отвисла челюсть, разбитая толчком; их размозженные тела были мягки, словно под мясом уже не было костей.

Тем не менее их узнали; начались долгие пересуды о причинах несчастья.

– Что они делали в этом шалаше? – спросила женщина.

Тогда старик нищий сообщил, что они, по всей вероятности, укрылись там от бури и что страшный ветер, должно быть, пошатнул хижину и сбросил ее в пропасть. Он объяснял, что сам хотел было спрятаться в нее, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям домика, и понял, что место было уже занято. Он добавил с довольным видом:

– Не случись этого, я попал бы в переделку.

Чей-то голос проговорил:

– А может, оно бы и лучше было?

Тогда старик пришел в ужасную ярость:

– Почему же это было бы лучше? Потому, что я беден, а они богаты? Ну и караульте-ка их теперь... – И, дрожащий, оборванный, весь мокрый, грязный, с всклокоченной бородой и длинными волосами, висящими из-под рваной шляпы, он указал на трупы концом крючковой палки, проговорив: – Все мы равны там, перед богом.

Подошли другие крестьяне, посматривая искоса беспокойным, лукавым, испуганным, трусливым взглядом. Затем стали рассуждать, что же делать; было решено развезти тела по замкам в надежде, что будет получена награда. Запрягли две двуколки. Но тут возникла новая трудность. Одни хотели просто устлать дно повозки соломой, другие же полагали, что необходимо для приличия положить в них матрацы.

Женщина, уже говорившая раньше, закричала:

– Да ведь матрацы-то будут все залиты кровью, их придется отмывать жавелем!

Толстый фермер с добродушным лицом ответил:

– За это заплатят. Чем больше это будет стоить, тем дороже заплатят.

Довод был убедительный.

И две одноколки, на высоких колесах без рессор, пустились рысью, одна направо, другая налево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки этих двух существ, которые только что обнимали друг друга и которым уже не придется встретиться вновь.

Как только граф увидел, что хижина покатила вниз по крутому склону, он побежал со всех ног под дождем и ветром шквала. Он бежал так несколько часов, пересекая дороги, прыгая с откоса, пробираясь через изгороди, и вернулся к себе под вечер, сам не зная как.

Испуганные лакеи ждали его и доложили, что обе лошади только что вернулись без всадников: лошадь Жюльена следовала за другою.

Тогда г-н де Фурвиль зашатался и прерывающимся голосом сказал:

– С ними, должно быть, случилось какое-то несчастье по этой ужасной погоде. Пусть все тотчас же отправятся на розыски.

Он ушел и сам, но, едва скрывшись из виду, спрятался в кустарнике и стал следить за дорогой, по которой должна была вернуться мертвой, или умирающей, или, может быть, навек искалеченной и обезображенной та, которую он все еще любил с дикой страстью.

Вскоре мимо него проехала одноколка с какою-то странною кладью.

Она остановилась перед замком, затем въехала во двор. Это было то самое, да, это была Она. Страшная тоска пригвоздила его к месту, чудовищная боязнь узнать правду, ужас перед открытием истины; он не двигался, притаившись, как заяц, и дрожа при малейшем шуме.

Он ждал час, быть может, два. Одноколка не выезжала обратно. Он решил, что жена его умирает, но мысль увидеть ее, встретиться с нею взглядом наполнила его таким ужасом, что он вдруг испугался, как бы его не открыли в засаде и не принудили вернуться домой, чтобы присутствовать при агонии. И он убежал еще дальше, в глубь леса. Однако тут ему внезапно пришло в голову, что она, быть может, нуждается в помощи, что, наверно, некому ходить за нею, и он вернулся бегом, полный отчаяния.

Возле замка он встретил садовника и крикнул ему:

– Ну, что?

Садовник не посмел ответить. Тогда г-н де Фурвиль испустил вопль:

– Она умерла?

И слуга пролепетал:

– Да, ваше сиятельство.

Он почувствовал огромное облегчение. Внезапное спокойствие проникло в его кровь, в дрожавшие мускулы, и он твердыми шагами взойшел на ступеньки высокого крыльца.

Другая одноколка доехала до «Тополей». Жанна издали увидела ее, различила матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Ее волнение было так велико, что она упала без чувств.

Когда она пришла в себя, отец поддерживал ее голову и мочил ей уксусом виски. Он спросил нерешительно:

– Ты знаешь?

– Да, папа, – прошептала она.

Она захотела подняться, но не смогла: так сильно она страдала.

В тот вечер она родила мертвого ребенка – девочку.

Она не видела похорон Жюльена и ничего о них не спрашивала. Она заметила только через день или два, что вернулась тетя Лизон, и среди мучительных кошмаров лихорадки упрямо старалась припомнить, когда старая дева уехала из «Тополей», в какое время и при каких обстоятельствах. Она не могла вспомнить этого даже в часы просветления и была уверена только в том, что уже видела ее после смерти мамочки.

Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали ее положение безнадежным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Папочка и тетя Лизон не оставляли ее: они поселились в «Тополях». Пережитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь; малейший шум доводил ее до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин.

Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жюльена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того не достаточно знает? Все верили в несчастный случай, но она-то не могла заблуждаться и хранила в сердце своем тайну, которая мучила ее: уверенность в измене и воспоминание о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы.

Теперь душа ее была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда ее память неожиданно пробуждалась; она видела его таким, каким он был в дни помолвки и каким она любила его в немногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем Корсики. Все недостатки его сглаживались, грубость исчезла, самые измены смягчились теперь, когда все дальше и дальше отходила в прошлое закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему ее в своих объятиях, прощала ему былые страдания, чтобы вспоминать лишь счастливые минуты. А время шло и шло, месяцы сменялись месяцами и покрывали забвением, словно густою пылью, ее воспоминания, ее горести, и она всецело отдалась сыну.

Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его; он царил, как деспот. Между тремя его рабами возникло даже нечто вроде ревности, и Жанна нервно следила за горячими поцелуями, которыми мальчик осыпал барона после поездки верхом на его колене. А тетя Лизон, которую он, как и все домашние, пренебрегал, обращаясь с нею порой как с прислугой, хотя еще едва лепетал, уходила плакать в свою комнату и горько сравнивала жалкие ласки, которые ей еле-еле удавалось вымолить у него, с теми объятиями, которые он берег для матери и деда.

Мирно, без всяких событий, протекли два года в постоянных заботах о ребенке. С наступлением третьей зимы решено было поселиться в Руане до весны; вся семья перебралась туда. Но по приезде в старый, заброшенный и отсыревший дом Поль схватил такой сильный бронхит, что опасались плеврита, и трое растерявшихся взрослых решили, что он не может жить без воздуха «Тополей».

Как только он поправился, его перевезли туда.

С тех пор потянулась однообразная и тихая жизнь.

Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восторгались его болтовней, его смешными выражениями и жестами.

Мать звала его ласкательным именем Поле; он же не мог его выговорить и произносил Пуле[2], что вызывало нескончаемый смех. Прозвище Пуле так за ним и осталось. Иначе его уже не называли.

Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких, или, как говорил барон, «его трех матерей», было измерение его роста.

На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных перочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста. Эта лестница, окрещенная «лестницею Пуле», занимала большое место в жизни его родных.

Вскоре видную роль в семье начало играть еще одно новое существо – собака Массакр, которую Жанна совершенно забыла, всецело занятая сыном. Питомица Людивины помещалась в старой конуре возле конюшни и жила одиноко, всегда на цепи.

Как-то утром Поль заметил ее и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребенка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда Массакра спустили с цепи и водворили в доме.

Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нем засыпали. Вскоре Массакр стал спать в кровати своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаяние из-за блох, а тетя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребенка, любви, украденной, как ей казалось, этим животным и которой так жаждала она сама.

Изредка обменивались визитом с Бризвильями и Кутелье. Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у нее относительно священника со времени трагической смерти графини и Жюльена, перестала посещать церковь, негодуя на бога за то, что он может иметь подобных служителей.

Аббат Тольбьяк время от времени в прозрачных намеках предавал анафеме замок, где воцарился дух Зла, дух Вечной Смуты, дух Заблуждения и Лжи, дух Беззакония, дух Разврата и Нечестия. Все это относилось к барону.

Его церковь, впрочем, опустела, и, когда он обходил поля, пахари налегали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прослыл за колдуна, потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что аббат знает таинственные слова против порчи, которая, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверз. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко или завивали хвосты кольцами, и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова.

Его ограниченный фанатический ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о проделках дьявола на земле, о разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости. А так как он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной и роковою силою, он тщательно изучил

все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах.

Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза: *sicut leo rugiens circuit quoerens quem devoret.*[3]

Тогда его тайной силы начали бояться, она стала приводить в ужас. Даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул являлся просто догматом веры и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией, — эти священники тоже считали аббата Тольбьяка немного колдуним и столько же уважали его за предполагавшееся в нем таинственное могущество, сколько и за безупречную строгость жизни.

При встречах с Жанной он не кланялся ей.

Такое положение вещей беспокоило и приводило в отчаяние тетю Лизон, которая своею боязливой душой старой девы совершенно не могла постигнуть, как это можно не ходить в церковь. Несомненно, она была благочестива, несомненно, она исповедовалась и причащалась, но этого никто не знал, да и не пытался узнать.

Когда она оставалась одна, совершенно одна с Полем, она потихоньку рассказывала ему о милосердном боженьке. Он слушал краем уха полные чудес истории о первых днях творения, но когда она поучала его, что нужно крепко-крепко любить милосердного боженьку, он спрашивал ее порою:

– А где же он, тетя?

Тогда она показывала пальцем на небо:

– Там – высоко, Пуле, но не надо об этом говорить.

Она боялась барона.

Однажды Пуле объявил ей:

– Боженька повсюду, но только не в церкви.

Это он рассказал дедушке о мистических откровениях тетки.

Ребенку исполнилось десять лет, а его матери можно было дать сорок. То был сильный, шаловливый мальчик, смело лазивший по деревьям, но ничему как следует не учившийся. Уроки ему надоедали, и он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгой, появлялась Жанна и говорила:

– Теперь пусти его поиграть. Не нужно утомлять его, он еще такой маленький.

Для нее он был по-прежнему шестимесячным или годовалым ребенком. Она с трудом отдавала себе отчет, что он уже ходит, бегает и разговаривает как подросток, и она жила в вечном страхе, как бы он не упал, как бы не простудился, как бы не вспотел, как бы не повредил желудок, поев слишком много, или не повредил росту, поев слишком мало.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник серьезный вопрос: вопрос о первом причастии.

Однажды утром Лизон пришла к Жанне и стала убеждать ее в том, что нельзя дольше оставлять ребенка без религиозного воспитания и без выполнения им своих первейших обязанностей. Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались. Смущенная и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно еще подождать.

Но когда через месяц она была с визитом у графини де Бризвиль, эта дама спросила ее мимоходом:

– Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году?

Захваченная врасплох, Жанна отвечала:

– Да, сударыня.

Этот простой вопрос придал ей решимости, и, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребенка на уроки катехизиса.

В течение месяца все обстояло хорошо, но однажды вечером Пуле вернулся домой немного охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви, в сенях, на сквозняке, так как он дурно себя вел.

Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тольбьяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников как недостаточно подготовленного.

То же повторилось и на следующий год. Тогда раздраженный барон заявил, что ребенку нет никакой надобности веровать в эти глупости, в детскую символику пресуществления, чтобы быть порядочным человеком: он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем чтобы по достижении совершеннолетия мальчик мог следовать тем путем, какой ему более понравится.

Несколько времени спустя Жанна, сделав визит Бризвилям, не получила ответного визита. Она удивилась, зная щепетильную вежливость

соседей; но вскоре маркиза де Кутелье высокомерно открыла ей причину этого.

Считая себя благодаря положению мужа, благодаря бесспорной древности его титула и благодаря его значительному богатству чем-то вроде королевы нормандской знати, маркиза держала себя как истинная монархиня, свободно высказывала то, что думала, была любезной или резкой, смотря по обстоятельствам, и при каждом случае распекала, наставляла или выражала свое одобрение. Когда Жанна навестила ее, эта дама после нескольких ледяных фраз сухо сказала:

– Общество делится на два класса: на людей, верующих в бога, и на людей неверующих. Первые, насколько бы ниже нас они ни стояли, всегда наши друзья и равные нам; вторые же для нас – ничто.

Жанна, почувствовав нападение, возразила:

– Но разве нельзя быть верующим, не посещая церкви?

Маркиза отвечала:

– Нет, сударыня; верующие идут молиться богу в его храм, как мы идем к людям в их дом.

Уязвленная, Жанна продолжала:

– Бог вездесущ сударыня. Лично я верю всем сердцем в его благодать, но он не становится мне ближе от того, когда между ним и мною находятся некоторые священники.

Маркиза встала:

– Священник держит знамя церкви, сударыня, и кто не следует за этим знаменем, тот идет против него и против нас.

Жанна тоже поднялась, вся дрожа:

– Вы, сударыня, верите в бога одной партии. Я же верую в бога всех честных людей.

Она поклонилась и вышла.

Крестьяне тоже втихомолку осуждали Жанну за то, что она не сводила Пуле к первому причастию. Сами они вовсе не ходили в церковь и вовсе не причащались или в лучшем случае исповедовались только к пасхе, согласно категорическим требованиям церкви. Но дети – другое дело; никто из крестьян не осмелился бы воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия есть религия.

Жанна прекрасно видела это осуждение, возмущалась в душе всем этим лицемерием, этими сделками с совестью, этим всеобщим страхом и величайшей подлостью, живущей во всех сердцах и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристойных масок.

Барон взялся руководить занятиями Поля и засадил его за латынь. Мать просила только об одном: «Главное, не утомляй его!» – и беспокойно бродила вокруг классной комнаты, куда папочка запретил ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая: «Пуле, не озябли ли у тебя ноги?» – или: «Не болит ли у тебя головка, Пуле?» – или же останавливала учителя: «Не заставляй его много говорить, ты утомишь ему горло».

Как только мальчик освобождался, он бежал заниматься садоводством с матерью и теткой. У них появилась теперь страсть к садоводству, и все трое сажали весной молодые деревья, сеяли семена, прорастание которых приводило их в восторг, обрезывали сухие ветки, срезали цветы для букетов.

Любимым занятием подростка было разведение салата. В его ведении находились четыре больших грядки, и он очень старательно выращивал на них латук, ромен, дикий цикорий, королевский салат – все известные сорта этого растения. Он копал грядки, поливал, полгал и пересаживал с помощью своих двух матерей, которых заставлял работать как поденщиц. Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях у грядки, пачкая платья и руки, увлеченно рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками.

Пуле подрастал, ему уже минуло пятнадцать лет; лесенка на косяке двери зала показывала сто пятьдесят восемь сантиметров, но по умственному развитию он оставался невежественным и пустым ребенком, охраняемым юбками своих двух матерей и милым стариком, который уже отстал от века.

Однажды вечером барон завел речь о коллеже. Жанна тотчас же разрыдалась, а тетя Лизон в полном смятении забилась в темный угол.

– На что ему знания? – говорила мать. – Мы сделаем из него сельского хозяина, дворянина-землевладельца. Он будет возделывать свои земли подобно многим другим дворянам. Он будет счастливо жить и стариться в этом доме, где мы жили до него и где мы умрем. Чего же больше желать?

Но барон качал головой:

– А что ответишь ты ему, когда он в двадцать пять лет скажет тебе: «Я ничто, ничего не знаю – и все из-за тебя, из-за твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, сделаться чем-либо, а между тем я не был создан для этой безвестной, жалкой и до смерти скучной жизни, на которую обрекла меня твоя безрассудная любовь?»

Она продолжала плакать, взывая к сыну:

– Скажи, Пуле, не правда ли, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я тебя слишком любила?

И большой ребенок, несколько озадаченный, обещал:

– Нет, мама.

– Ты мне клянешься в этом?

– Да, мама.

– Ты хочешь остаться здесь, не правда ли?

– Да, мама.

Тогда барон заговорил решительно и повысив голос:

– Жанна, ты не имеешь права распоряжаться этой жизнью. То, что ты делаешь с ним, низко и почти преступно: ты жертвуешь своим ребенком во имя личного счастья.

Закрыв лицо руками и неудержимо рыдая, она лепетала сквозь слезы:

– Я была так несчастна... так несчастна! Теперь же, когда я нашла успокоение вблизи сына, его у меня отнимают. Что будет со мною... совсем одинокой... теперь?

Отец встал, подсел к ней и обнял ее:

– А я, Жанна?

Она порывисто обняла его шею руками, крепко поцеловала и, все еще всхлипывая, проговорила, хотя ее душили слезы:

– Да... ты прав, быть может... папочка. Я сошла с ума, но я так страдала. Я согласна, пусть он отправится в коллеж.

Не понимая хорошенько, что собираются с ним сделать, Пуле тоже разревелся.

Все три матери бросились обнимать, ласкать, успокаивать его. Когда же отправлялись спать, у всех было тяжело на сердце, и все плакали в своих постелях, даже барон, который до тех пор сдерживался.

Было решено, что после каникул мальчика поместят в Гаврский коллеж, и все лето его баловали больше, чем когда бы то ни было.

Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему целое приданое, словно он отправлялся в путешествие на десять лет; затем, в одно октябрьское утро, после бессонной ночи, обе женщины и барон уселись с мальчиком в коляску, и лошади тронулись рысью.

В предыдущую поездку Полю заранее выбрали место в дортуаре и в классе. Жанна с помощью тети Лизон целый день размещала его вещи в маленьком комод. Но последний не мог вместить и четвертой доли того, что было привезено, и она отправилась хлопотать о втором комод. Был позван эконом; он заметил, что такая масса белья и вещей будет только стеснять и никогда не понадобится, поэтому, ссылаясь на устав, он отказался дать другой комод. Тогда огорченная мать решила нанять комнату в небольшой гостинице по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять Пуле все необходимое по первому требованию мальчика.

Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывавшие и приходявшие суда.

Печальный вечер спустился на город; понемногу зажигались огни. Зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами, а блюда появлялись перед ними и уносились обратно почти нетронутыми.

Затем они не спеша направились к коллежу. Дети разных возрастов прибывали со всех сторон в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали. На большом, едва освещенном дворе слышались рыдания.

Жанна и Пуле долго обнимались. Тетя Лизон стояла позади, совершенно позабытая, закрыв лицо носовым платком. Но барон, тоже расчувствовавшись, прервал сцену прощания, уведя дочь. Коляска ждала у подъезда; они сели втроем и ночью отправились в «Тополя».

Подчас в темноте раздавалось громкое всхлипывание.

На другой день Жанна проплакала до самого вечера, а на следующее утро велела заложить фаэтон и поехала в Гавр. Пуле, казалось, уже немного свыкся с разлукой. В первый раз в жизни у него были товарищи; он ерзал на стуле в приемной, горя нетерпением поиграть с ними.

Жанна приезжала к нему через каждые два дня, а по воскресеньям брала его в отпуск. Не зная, что делать во время уроков между переменами, она сидела в приемной, потому что не находила в себе ни силы, ни решимости оставить коллеж. Директор пригласил ее к себе и попросил бывать реже. Но она не приняла во внимание этого совета.

Тогда он предупредил Жанну, что если она будет по-прежнему мешать мальчику играть во время перемен и работать во время занятий, постоянно не давая ему покоя, то он будет вынужден вернуть ей сына обратно; об этом был извещен запиской и барон. И за нею стали следить в «Тополях», как за пленницей.

Она дожидалась каникул с большим нетерпением, чем ее сын.

Постоянная тревога волновала ее душу. Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой Массакром и предаваясь на свободе мечтам. Иногда, после полудня, она просиживала целыми часами, любясь морем с высокого утеса; иногда спускалась лесом к Ипору, возобновляя прежние прогулки, воспоминания о которых преследовали ее. Как давно, как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молодой девушкой, упоенной мечтами!

Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась лет десять. С каждым месяцем он все больше становился мужчиной; с каждым месяцем она все больше становилась старухой. Отец казался ее братом, а тетя Лизон, которая, увянув в двадцать пять лет, больше не старилась, – старшей сестрой.

Пуле совсем не учился; он пробыл два года в четвертом классе. В третьем дела, казалось, наладились, но во втором ему пришлось опять просидеть два года, и он очутился в классе риторики, когда ему уже исполнилось двадцать лет.

Он стал высоким молодым человеком, блондином с густыми уже бакенбардами и пробивающимися усиками. Теперь он сам каждое воскресенье приезжал в «Тополя». Так как он уже давно обучился верховой езде, то только нанимал лошадь и за два часа совершал весь путь.

С утра Жанна выходила к нему навстречу в сопровождении тетки и барона, который горбился все больше и больше и ходил как дряхлый старичок, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть вперед.

Они потихоньку шли вдоль дороги, присаживаясь иногда у рва и всматриваясь в даль, – не покажется ли всадник. Как только он появлялся в виде черной точки на светлой полосе дороги, трое родных принимались махать платками, а он пускал лошадь галопом и летел как ураган, что приводило в трепет сердца Жанны и Лизон и восторгало дедушку, который кричал ему «браво» с энтузиазмом человека, уже не способного на это.

Хотя Поль был на целую голову выше матери, она продолжала обращаться с ним как с ребенком, допрашивая его: «Пуле, не озябли ли у тебя ноги?» А когда он после завтрака прогуливался у подъезда с папироской в зубах, она открывала окно, чтобы крикнуть ему:

– Умоляю тебя, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк.

И она дрожала от беспокойства, когда он уезжал от них верхом ночью.

– Только не езди слишком быстро, милый Пуле, будь осторожен, помни свою мать, которая будет в отчаянии, если с тобой что-нибудь случится.

Но вот как-то в субботу, утром, она получила от Поля письмо с извещением, что он не придет в воскресенье, потому что его друзья собираются устроить пикник, на который он приглашен.

Она провела весь воскресный день в мучительной тоске, точно под угрозой несчастья. В четверг, не вытерпев, она отправилась в Гавр.

Сын показался ей изменившимся, но она не могла понять, в чем, собственно, состоит эта перемена. Он казался возбужденным, говорил более мужественным голосом. И вдруг он сказал ей, как самую обычную вещь:

– Знаешь, мама, так как ты приехала сегодня, я и в будущее воскресенье не поеду в «Тополя»; мы решили повторить пирушку.

Она стояла ошеломленная, задыхаясь, как будто ей объявили, что ее сын уезжает в Америку; когда же к ней вернулась способность говорить, она произнесла:

– О, Пуле, что с тобой? Скажи мне, что случилось?

Он стал смеяться и поцеловал ее:

– Да ровно ничего, мама. Просто я хочу повеселиться с друзьями, это естественно в мои годы.

У нее не нашлось в ответ ни слова; когда же она осталась одна в экипаже, ее начали осаждать странные мысли. Она не узнавала больше своего Пуле, своего прежнего маленького Пуле. Она впервые поняла, что он уже взрослый, что он уже не принадлежит ей, что он хочет жить своей жизнью, не думая о стариках. Ей казалось, что он переменялся за какой-нибудь один день. Как, неужели этот сильный бородатый мужчина, утверждающий свою волю, – ее сын, слабый, маленький мальчик, заставлявший ее когда-то пересаживать салат?

И в течение трех месяцев Поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час. Жанну это пугало, но барон беспрестанно утешал ее, повторяя:

– Оставь его, ведь ему всего двадцать лет.

Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом:

– Виконтесса!

И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив:

– У меня тля фас пумажка.

Он протянул ей развернутый клочок грязной бумаги. Она ее прочитала, перечла, взглянула на еврея, перечитала снова и спросила:

– Что же это такое?

Неизвестный пояснил ей заискивающим тоном:

– Толжен фам соопщить, что фаш сын нуштался в непольшой сумме тенек, а так как я снал, что фы топрая мать, то я и тал ему немноко тенек на его нушты.

Жанна вздрогнула.

– Но почему же он не попросил их у меня?

Еврей обстоятельно разъяснил ей, что дело касалось карточного долга, который надо было уплатить на следующий же день утром, что никто не хотел ссудить Поля деньгами, потому что он несовершеннолетний, и что «его шесть была бы скомпрометирована» без этой «маленькой любезности», которую он оказал молодому человеку.

Жанна хотела позвать барона, но не могла подняться с места: волнение парализовало ее. Наконец она сказала ростовщику:

– Не будете ли вы добры позвонить?

Он колебался, опасаясь какой-нибудь уловки, и заметил:

– Если я фас стесняю, я моку притти в трукой рас.

Жанна отрицательно покачала головой. Он позвонил, и они стали ждать, не проронив ни слова, сидя друг против друга.

Когда барон вошел, он тотчас же понял, в чем дело. Вексель оказался на полторы тысячи франков. Заплатив ростовщику только тысячу, барон посмотрел на него в упор и произнес:

– Больше сюда не являйтесь.

Тот поблагодарил, раскланялся и исчез.

Дед и мать немедленно уехали в Гавр, но по приезде в коллеж узнали, что Поль уже месяц туда не показывался. Директором были получены четыре письма за подписью Жанны, сообщавшие о болезни его воспитанника с последующими извещениями о состоянии его здоровья. К каждому письму было приложено медицинское свидетельство; все это, разумеется, было подделано. Сраженные, они не двигались с места и молча смотрели друг на друга.

Директор, огорченный происшедшим, проводил их к полицейскому комиссару. Ночевали они в гостинице.

На другой день молодого человека разыскали у одной из городских проституток. Дед и мать увезли его в «Тополя», не обменявшись ни словом за всю дорогу.

Жанна плакала, закрыв лицо платком. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам.

Через неделю открылось, что за последние три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы на первых порах не показывались, зная, что он скоро станет совершеннолетним.

Никакого объяснения не произошло. Поля хотели победить лаской. Его угощали изысканными блюдами, нежили и баловали. Была весна; для него, несмотря на опасения Жанны, взяли напрокат в Ипоре лодку, чтобы он мог наслаждаться вволю прогулками по морю.

Но лошади ему не давали из страха, чтобы он не уехал в Гавр.

Он жил без дела, раздражительный, подчас даже грубый. Барона беспокоило его неоконченное образование. Жанна, приходившая в отчаяние при мысли о разлуке с сыном, не раз, однако, спрашивала себя, что же с ним делать?

Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он уехал в лодке с двумя матросами. Обезумевшая мать добежала с непокрытой головой ночью до Ипора.

Несколько человек ожидало на пляже возвращения лодки.

Вдали показался огонек; слегка колеблясь, он приближался. Поля уже не было в лодке. Он приказал отвезти себя в Гавр.

Вся полиция была поставлена на ноги, но его не могли найти. Проститутка, укрывавшая его в первый раз, тоже бесследно исчезла, распродав свою мебель и уплатив за квартиру. В комнате Поля в «Тополях» нашли два письма от этой твари, которая, по-видимому, была безумно влюблена в него. Она говорила о поездке в Англию и, по ее словам, нашла необходимые для этого средства.

И трое обитателей замка зажили молчаливо и мрачно, в беспросветном аду нравственных мук. Поседевшие уже волосы Жанны стали совсем белыми. Она наивно задавала себе вопрос: за что судьба наносит ей такие удары?

Она получила письмо от аббата Тольбьяка:

«Сударыня, десница божия тяготееет над Вами. Вы отказали ему в своем ребенке; он отнял его у Вас, дабы бросить в объятия девки. Неужели у Вас еще не отверзлись глаза после этого указания небес? Милосердие господа безгранично. Быть может, он простит Вас, если

Вы придете преклонить перед ним колена. Смиренный служитель господень, я открою Вам дверь его дома, когда Вы постучите в нее».

Она долго сидела с этим письмом на коленях. Быть может, то, что говорит священник, правда? И все религиозные сомнения стали терзать ее совесть. Неужели бог может быть мстительным и завистливым, как люди? Но если бы он не был завистливым, все перестали бы его бояться, все перестали бы поклоняться ему. Без сомнения, для того, чтобы люди могли лучше познать его, он выказывает по отношению к ним их же собственные чувства. И трусливые сомнения, которые толкают колеблющихся и неуверенных в лоно церкви, охватили ее. Однажды вечером, когда стемнело, она тайком побежала в церковь и, преклонив колена перед тощим аббатом, просила отпущения грехов.

Аббат обещал ей полупрощение, так как бог не может излить сразу все свои милости на кровлю дома, приютившего такого человека, как барон.

– Вы увидите скоро, – добавил он, – явление божьей благодати.

Через два дня Жанна в самом деле получила письмо от сына и в безумии своего горя увидела в этом начало облегчения, обещанного ей аббатом.

«Не беспокойся, дорогая мама. Я в Лондоне и совершенно здоров, но крайне нуждаюсь в деньгах. У нас нет ни гроша, и подчас нам нечего есть. Та, которая сопровождает меня и любима мною от всей души, не желая покидать меня, истратила все, что у нее было, – пять тысяч франков. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего вернуть ей эту сумму. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты согласилась выдать мне пятнадцать тысяч в счет отцовского наследства, так как я буду совершеннолетним уже скоро; ты выручила бы меня из большого затруднения.

Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь скоро тебя увидеть.

Твой сын виконт Поль де Лямар».

Он написал ей! Значит, не забыл ее. Она совсем не думала о том, что он просит денег. Их пошлют, раз у него их нет. Что такое деньги! Он написал ей!

Вся в слезах, она побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон, перечитывали от начала до конца листок бумаги, который говорил о нем. Обсуждали каждое слово.

Переходя от полного отчаяния к опьянению надеждой, Жанна оправдывала сына:

– Он вернется, он скоро вернется, раз он об этом пишет.

Барон, сохраняя большее спокойствие, произнес:

– Все равно, он покинул нас для этой твари. Он любит ее больше, чем нас, раз он не поколебался это сделать.

Мгновенная и страшная боль пронизала сердце Жанны, и тотчас же в душе ее вспыхнула ненависть к этой любовнице, укравшей у нее сына, – неукротимая, дикая ненависть, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были поглощены Полем. Она едва сознавала, что причиной его заблуждений была эта негодяйка. Но слова барона внезапно вызвали в ней образ соперницы и вскрыли роковую силу последней; Жанна почувствовала, что между нею и этой женщиной завязывается ожесточенная борьба; она поняла также, что предпочла бы лишиться сына, чем делить его с другой.

И вся ее радость исчезла.

Они послали пятнадцать тысяч франков и не получали вестей в течение пяти месяцев.

Затем явился поверенный для приведения в порядок наследства, оставшегося после Жюльена. Жанна и барон беспрекословно сдали все отчеты, отказавшись даже от права пожизненного пользования имуществом, которое по закону принадлежит матери. И по приезде в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. С тех пор за шесть месяцев он прислал четыре письма давая о себе краткие сведения и заканчивая холодными уверениями в любви. «Я работаю, – утверждал он, – я завоевал себе положение на бирже. Надеюсь через несколько дней обнять вас в „Тополях“, мои дорогие».

Но ни словом не упоминал о своей возлюбленной, и это молчание было гораздо красноречивее, чем если бы он распространялся о ней на четырех страницах. В его холодных письмах Жанна ощущала присутствие этой неумолимой продажной женщины, этой девки – вечного врага матерей.

Трое отшельников обсуждали, что можно сделать, чтобы спасти Поля, и не находили никакого средства.

Съездить в Париж? Но к чему?

Барон говорил:

– Нужно дать истощиться его страсти. Он вернется к нам.

Жизнь их была печальна.

Жанна и Лизон ходили вместе в церковь, тайком от барона.

Много времени прошло без всяких новостей, но однажды утром все привело в ужас отчаянное письмо:

«Бедная мама, я погиб, мне остается только пустить себе пулю в лоб, если ты не придешь мне на помощь. Спекуляция, имевшая все шансы на успех, рухнула, и я задолжал восемьдесят пять тысяч. Неуплата их означает для меня позор, разорение, невозможность что-либо делать в будущем. Я погиб! Повторяю, я предпочту пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой стыд. Я бы, вероятно, уже сделал это, если бы меня не поддерживала одна женщина, о которой я никогда тебе не говорю, но которая является моим провидением.

Целую тебя от всего сердца, дорогая мама, быть может, в последний раз. Прощай.

Поль».

Связка деловых бумаг, приложенных к этому письму, давала обстоятельное представление о катастрофе.

Барон со следующей же почтой ответил, что дело будет улажено. Затем он поехал в Гавр для наведения справок и заложил землю, чтобы раздобыть денег, которые и были отправлены Полю.

Молодой человек отвечал тремя письмами, полными восторженной благодарности и страстной нежности, обещая немедленно приехать обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел целый год.

Жанна и барон собирались отправиться в Париж, чтобы разыскать его и предпринять последние усилия для его возвращения домой, как вдруг узнали из его записки, что он опять в Лондоне, где занят устройством пароходного общества под фирмой «Поль Делямар и К°». Он писал: «Для меня это – обеспеченное состояние, а быть может, и богатство. И я ничем не рискую. Вы понимаете всю выгоду этого. Когда мы свидимся, у меня будет прекрасное общественное положение. В настоящее время выйти из затруднительных обстоятельств только и можно путем подобных дел».

Через три месяца пароходное общество прогорело, а директор был привлечен к ответственности за неисправность в торговых книгах. С Жанной сделался нервный припадок, длившийся несколько часов; после этого она слегла в постель.

Барон снова отправился в Гавр, наводил справки, виделся с адвокатами, стряпчими и судебными приставами, выяснил наконец, что дефицит общества «Делямар» простирается до двухсот тридцати пяти тысяч, и перезаложил свое имение. Замок «Тополя» и две прилегавшие к нему фермы были обременены большими долгами.

Однажды вечером, когда барон улаживал последние формальности в кабинете адвоката, он упал: его сразил апоплексический удар.

Жанну известили об этом, послав верхового. Когда она приехала, отец уже был мертв.

Она привезла его в «Тополя» и чувствовала себя до того подавленной, что ее горе выражалось не в отчаянии, а в оцепенелости всего ее существа.

Аббат Тольбьяк не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона похоронили с наступлением ночи, без отпевания.

Поль узнал о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он все еще скрывался в Англии. Он написал, принося извинения, что не приехал, и оправдывался тем, что слишком поздно узнал о несчастье. «Впрочем, теперь, когда ты меня выручила, дорогая мама, я вернусь во Францию и скоро обниму тебя».

Жанна жила в состоянии такой подавленности, что, казалось, ничего уже не понимала.

В конце зимы тетя Лизон, которой исполнилось шестьдесят восемь лет, схватила бронхит, перешедший в воспаление легких; она тихо умерла, лепеча:

– Бедная моя маленькая Жанна, я буду молить милосердного бога, чтобы он сжалился над тобой.

Жанна проводила ее на кладбище и видела, как засыпали землю ее гроб; она пошатнулась и чуть не упала; ей хотелось тоже умереть, чтобы больше не страдать, чтобы больше не думать; одна сильная крестьянка схватила ее на руки и унесла домой, как ребенка.

Жанна, которой пришлось провести пять ночей у изголовья старой девы, без всякого сопротивления позволила по возвращении в замок уложить себя в постель незнакомой крестьянке, обращавшейся с нею мягко, но властно; обессиленная усталостью и горем, она заснула крепким сном.

Среди ночи Жанна проснулась. На камине горел ночник. Какая-то женщина спала в кресле. Кто эта женщина? Жанна не узнавала ее и, свесившись над краем постели, старалась разглядеть ее черты при мерцавшем свете фитиля, плававшего в кухонной плочке с маслом.

Ей казалось, однако, что она когда-то видела это лицо. Но когда? Где? Женщина мирно спала, свесив голову на плечо; чепчик ее свалился на пол. Ей могло быть сорок – сорок пять лет. Она была полная, краснощекая, плечистая, сильная. Широкие кисти ее рук свисали по бокам кресла. Волосы были с проседью. Жанна упорно рассматривала ее, сознание ее мутилось, как бывает после лихорадочного сна, сопровождающего сильное горе.

Конечно, она видела это лицо! Но когда? Давно? Или недавно? Она не могла припомнить, и эта неотвязная мысль мучила ее, напрягала

ее нервы. Она тихо поднялась, чтобы ближе разглядеть спящую, и подошла к ней на цыпочках. То была та самая женщина, которая поддержала ее на кладбище и затем уложила в постель. Она смутно припомнила это.

Встречала ли она ее раньше, в другую пору жизни? Или, быть может, она узнала ее благодаря лишь неясным воспоминаниям последнего дня? Но как она могла попасть сюда, в ее комнату? Зачем?

Веки женщины поднялись, она увидела Жанну и быстро встала. Они стояли лицом к лицу так близко, что их груди почти соприкасались. Незнакомка проворчала:

– Как это, вы уже на ногах! Да вы заболаете, извольте-ка лечь опять!

Жанна спросила:

– Кто вы?

Но женщина обхватила ее руками, подняла снова и отнесла в постель с чисто мужской силой. И, осторожно опуская Жанну на простыни, нагнувшись над нею, чуть ли не лежа на ней, она расплакалась и принялась порывисто целовать ее щеки, волосы, глаза, орошая лицо слезами и шепча:

– Моя бедная мамзель Жанна, моя бедная госпожа, да неужели вы не узнаете меня?

Тогда Жанна воскликнула:

– Розали, голубушка моя!

Обвив ее шею руками, Жанна обнимала и целовала ее, и они рыдали обе, крепко обнявшись, сливая свои слезы и не имея сил разомкнуть объятия.

Розали успокоилась первая.

– Довольно, будем благоразумными, – сказала она, – не простудитесь.

Она подняла одеяло,правила постель, подложила подушку под голову своей прежней госпожи, которая продолжала всхлипывать, вся трепеща от старых воспоминаний, всплывших в ее душе.

Наконец Жанна спросила:

– Как ты пришла ко мне, бедняжка?

Розали ответила:

– Ну вот еще, разве я могу оставить вас теперь одну в таком положении?

– Зажги свечку, – сказала Жанна, – чтобы я могла тебя видеть.

Когда огонь был принесен на ночной столик, они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем, протянув руку своей старой служанке, Жанна проговорила:

– Я никогда не узнала бы тебя, милая, ты сильно изменилась, хотя все же не так, как я.

И Розали, всматриваясь в эту истощенную и увядшую женщину с седыми волосами, которую она оставила такой молодой, красивой и свежей, ответила:

– Это верно, вы изменились, сударыня, и больше, чем полагается. Да и то сказать: ведь мы не виделись целых двадцать четыре года.

Они умолкли, снова задумавшись. Наконец Жанна прошептала:

– Была ли ты по крайней мере счастлива?

Коллебаясь, как бы не вызвать какого-нибудь горького воспоминания, Розали промолвила, запинаясь:

– Да... да... сударыня. Я не могу пожаловаться, я была счастливее вас... наверно. Одно только меня всегда сокрушало – что я не здесь...

Она вдруг умолкла, спохватившись, что неосмотрительно коснулась больного места. Но Жанна сказала ей ласково:

– Что поделаешь, голубушка, не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже овдовела, не правда ли? – Ее голос задрожал, когда она продолжала: – У тебя есть еще другие... другие дети?

– Нет, сударыня.

– А что стало с тем... с твоим... сыном? Довольна ли ты им?

– Да, сударыня, он хороший, работающий парень. Вот уж полгода, как он женился и взял мою ферму; потому я и вернулась к вам.

Жанна, дрожа от волнения, прошептала:

– Так ты меня не оставишь больше?

– Разумеется, нет, сударыня, для того я и устроила свои дела.

Некоторое время они помолчали.

Жанна помимо воли опять начала сравнивать их жизни, но теперь уже без горечи в душе, а всецело покоряясь жестокой несправедливости судьбы. Она спросила:

– А как относился к тебе муж?

– О, сударыня, он был хороший человек, не лентяй; он сумел кое-что нажить. Он умер от грудной болезни.

Жанна, желая узнать все, уселась на кровати:

– Ну, голубушка, расскажи мне о всей твоей жизни. Это доставит мне такое удовольствие!

И Розали, подвинув стул, устроилась возле нее и начала рассказывать про себя, про свой дом, про своих знакомых, входя в мельчайшие подробности, дорогие сердцу деревенских жителей, описывая свой двор, смеясь над давними происшествиями, напоминавшими ей лучшие минуты прошлой жизни, и мало-помалу возвышая голос до тона фермерши, привыкшей отдавать приказания. Она закончила свой рассказ, воскликнув:

– О, моего добра на мой век хватит! Мне нечего бояться. – А затем, немного смутившись, добавила тихо: – Всем этим я все же обязана вам, так что знайте, я не возьму от вас жалованья. Ни за что! Ни за что! Если же вы не согласны, я тотчас ухожу.

Жанна возразила:

– Уж не думаешь ли ты, однако, служить мне даром?

– Разумеется, сударыня. Деньги! Вы хотите предложить мне денег! Да у меня их почти столько же, как и у вас. Да знаете ли вы, сколько у вас останется после всей возни с залогами, ссудами, уплатой процентов, которые еще не внесены и которые растут с каждым днем? Знаете ли вы это? Нет, не правда ли? Ну, так я вам скажу, что у вас останется не больше десяти тысяч дохода в год. Даже меньше десяти, слышите? Но я вам приведу все в порядок, и очень скоро.

Она снова возвысила голос, увлекаясь, негодуя на то, что пропущен срок уплаты процентов и что впереди грозит разорение. Когда по лицу ее госпожи скользнула вялая, неопределенная улыбка, она воскликнула с возмущением:

– Нечего над этим смеяться, сударыня; ведь без денег не проживешь!

Жанна взяла ее руки и, держа их в своих, медленно проговорила, преследуемая одной неотвязной мыслью:

– О, у меня не было счастья! Все оборачивалось против меня. Злой рок тяготел надо мною.

Но Розали отрицательно покачала головой:

– Не надо так говорить, сударыня, не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и все. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха.

Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце взошло, а они все еще говорили.

В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинялась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда ее мамочка, она выходила из дому под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала ее и подбадривала грубовато-ласковыми словами, обращаясь с нею как с больным ребенком.

Они постоянно говорили о прошлом, Жанна – со слезами в голосе, Розали – спокойным тоном бесстрастной крестьянки. Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов; затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от нее, стыдясь за сына.

И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фекан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всем.

Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у ее изголовья и неожиданно заявила:

– Ну, сударыня, раз вы легли, давайте теперь побеседуем.

И она изложила положение вещей.

Когда все будет приведено в порядок, останется приблизительно семь-восемь тысяч франков ренты. И больше ничего.

Жанна отвечала:

– Чего же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу; мне этого вполне хватит.

Но Розали рассердилась:

– Вам, сударыня, может быть, и хватит; но господину Полю вы разве ничего не оставите?

Жанна вздрогнула:

– Прошу тебя, не говори мне о нем никогда. Я слишком страдаю, когда о нем думаю.

– Напротив, я хочу говорить о нем, если вы сами не осмеливаетесь, сударыня. Он делает глупости – ну что же, он не всегда их будет делать; и потом он женится, у него будут дети. Понадобятся деньги на их воспитание. Выслушайте же меня хорошенько: вы должны продать «Тополя».

Жанна привскочила:

– Продать «Тополя»? Ты так думаешь? О нет, никогда!

Но Розали ничуть не смутилась:

– Я вам говорю, что вы продадите «Тополя», сударыня; это необходимо.

И она объяснила свои расчеты, планы и соображения.

Когда «Тополя» с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся еще четыре фермы в Сен-Леонаре; выкупленные из-под заклада, они обеспечат ежегодный доход в восемь тысяч триста франков. На поддержание имения и на ремонт придется откладывать тысячу триста франков в год; останется, значит, семь тысяч, из которых пять будут идти на издержки в течение года, а две – прикапливаться на будущее.

Она прибавила:

– Все остальное съедено, и с этим уже кончено. Кроме того, ключ от денег буду хранить я, понимаете? Что же касается господина Поля, он не получит больше ничего, решительно ничего; иначе он обернет вас до последнего су.

Жанна, плача, пролепетала:

– Но если ему нечего будет есть?

– Если он будет голоден, пусть приезжает кушать к вам. Для него всегда найдется постель и кусок жаркого. Как вы полагаете, натворил ли бы он все эти глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни одного су?

– Но у него были долги, он был бы обеспечен.

– Когда у вас больше ничего не останется, разве это помещает ему делать долги? Вы их заплатили, ладно; но больше платить их вы не будете; это уж я вам говорю. А теперь покойной ночи, сударыня.

И она ушла.

Жанна совсем не спала: ее глубоко взволновала мысль продать «Тополя», уехать, покинуть дом, с которым была связана вся ее жизнь.

Когда на следующее утро Розали вошла в ее комнату, Жанна сказала:

– Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда.

Но служанка рассердилась:

– А все-таки придется это сделать, сударыня. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдете по миру.

Уничтоженная, Жанна повторяла:

– Я не могу, я ни за что не смогу.

Часом позже почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Она растерянно посоветовалась с Розали. Та всплеснула руками:

– Что я вам говорила, сударыня? Хороши были бы вы оба, если бы я не вернулась!

И, подчиняясь воле служанки, Жанна ответила молодому человеку:

«Дорогой сын, я больше ничего не могу сделать для тебя. Ты меня разорил; я даже принуждена продать „Тополя“. Но не забывай, что у меня всегда найдется кров, когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий.

Жанна».

И когда нотариус явился с г-ном Жоффреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все самым подробным образом.

Месяц спустя она подписала запродажную и в то же время купила маленький, городского вида, домик в окрестностях Годервиля, на Большой Монтивильерской дороге, в деревушке Батвиль.

Затем она до самого вечера одиноко бродила по мамочкиной аллее; сердце ее разрывалось и дух был полон скорби, когда, вся в слезах, она посылала безнадежное «прости» далям, деревьям, полусгнившей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым ее взору и душе предметам, рощице, откосу перед ландой, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Фурвиля в ужасный день смерти Жюльена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась, всему этому родному саду.

Розали взяла ее под руку, чтобы увести силой.

Дюжий двадцатипятилетний крестьянин ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно.

– Здравствуйте, сударыня, как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда; я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам.

То был сын ее служанки, сын Жюльена, брат Поля.

Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня.

Она рассматривала его, стараясь найти в нем сходство с мужем, сходство с сыном. Он был румяный и сильный, и у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери. И тем не менее он походил на Жюльена. Чем? Как? Этого она не могла определить, но во всем его облике было что-то от ее мужа.

Парень продолжал:

– Если бы вы сооблаговостили указать мне все это сейчас, я был бы вам очень обязан.

Но она сама еще не могла решить, что возьмет из вещей, так как новый дом был очень мал, и попросила его зайти еще раз в конце недели.

Переезд занял ее и внес грустное разнообразие в ее жизнь, мрачную и уже лишенную всяких надежд.

Она переходила из комнаты в комнату, отыскивая мебель и вещи, которые напоминали ей о разнообразных событиях, те вещи-друзья, которые составляют часть нашей жизни, почти часть нашего существа, знакомые с детства, с которыми связаны воспоминания о наших радостях и печалях, о знаменательных датах нашей жизни, вещи, которые были немymi товарищами наших светлых и горестных часов, на которых материя местами лопнула и подкладка изорвалась, швы расползли и разъехались, а краски стерлись.

Она перебирала их одну за другой, часто колеблясь и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая достоинства двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком.

Она выдвигала ящики, старалась припомнить различные связанные с этим предметом события; когда она окончательно решала: «Да, это я возьму», – выбранную вещь переносили в столовую.

Она пожелала сохранить всю мебель спальни: кровать, обивку, часы – решительно все.

Взяла несколько стульев из гостиной, рисунки которых любила с детства: Лисицу и Аиста, Лисицу и Ворону, Стрекозу и Муравья,

меланхолическую Цаплю. Однажды, бродя по закоулкам покидаемого ею жилища, она забрела на чердак.

Она остановилась в изумлении: там была навалена беспорядочная груда разнообразных вещей, частью сломанных, частью только загрязнившихся, частью водворенных сюда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых и внезапно, хотя и неощутимо для нее, исчезнувших безделушек, пустяковых вещиц, побывавших в ее руках, старых, незначительных предметов, пятнадцать лет живших бок о бок с ней, которые она видела каждый день, не замечая их; оказавшись здесь, на чердаке, рядом с другими, еще более ветхими вещами, о которых она отчетливо помнила, где какая из них стояла в первое время по ее приезде, эти старые вещи приобретали теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретенные друзья. Они производили на нее впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг, однажды вечером, без всякого повода, бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали.

Она переходила от одного предмета к другому с болезненно сжатым сердцем, говоря себе: «Эту китайскую чашку я разбила вечером за несколько дней до свадьбы. А вот мамин фонарик и палка, которую папочка сломал, открывая дверь, разбухшую от дождя».

Здесь было также много вещей, которых она не знала, которые ей ни о чем не напоминали, которые принадлежали ее дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чуждую им эпоху, – вещей, которые кажутся такими грустными в своей заброшенности, история и приключения которых никому не ведомы, вещей, относительно которых никому не известно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому не известны руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими.

Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли, и долго пробыла среди этого старья, под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные остекленные окошечки, сделанные в крыше.

Она тщательно рассматривала трехногие стулья, ожидая, не напомнят ли они ей что-нибудь, медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления.

Наконец она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увезти с собой, и, спускаясь, послала за ними Розали. Но служанка вышла из себя и отказалась переносить «эту рухлядь». Жанна, потерявшая уже всякую самостоятельность, на этот раз проявила твердость; служанке пришлось повиноваться.

Однажды утром молодой фермер, сын Жюльена, Дени Лекок, явился со своей тележкой, чтобы совершить первую перевозку вещей. Розали сопровождала его, желая присутствовать при выгрузке и установке вещей на место, которое они должны были занимать. Оставшись одна, Жанна в страшном приступе отчаяния заметалась по комнатам замка, покрывая поцелуями в порыве безумной любви все вещи, которые она не могла взять с собою, – больших белых птиц на обивке гостиной, старые канделябры, все, что только ей попадалось на глаза. Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами; затем пошла сказать «прости» морю.

Был конец сентября; низкое серое небо, казалось, давило на землю; печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утесе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой, исстрадавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей.

Розали возвратилась и поджидала ее; она была в восторге от нового дома и говорила, что он гораздо веселее этого старого сундука, расположенного так далеко от проезжей дороги.

Жанна проплакала весь вечер.

С тех пор как фермерам стало известно, что замок продан, они оказывали Жанне почтение лишь в пределах самого необходимого и называли ее между собой «свихнувшейся», хотя и сами не знали почему – вероятно, потому, что своим животным инстинктом угадывали ее возрастающую болезненную сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность и все смятение ее бедной, потрясенной горем души.

Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило ее вздрогнуть. То был Массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев. Слепой и разбитый параличом, достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозябал на своем соломенном ложе благодаря заботам Людивины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Толстый как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собак.

Наконец настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жюльена, так как мебель из ее спальни была уже увезена.

Она встала измученная и разбитая, как после длинного путешествия. Повозка с сундуками и остатками мебели была уже погружена. Другая тележка, одноколка, в которой должны были поместиться госпожа со служанкой, тоже уже стояла на дворе.

Дядя Симон и Людивина оставались одни до приезда новых владельцев, а затем должны были поселиться у родных, так как Жанна назначила им маленькую ренту. Кроме того, у них были кое-какие сбережения.

Теперь они были старыми, ни на что не годными и болтливыми. Мариус, женившись, уже давно покинул дом.

Около восьми часов начал накрапывать дождь, мелкий холодный дождь, принесенный морским бризом. Тележку пришлось покрыть одеялами. С деревьев уже облетели листья.

На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла:

– Едем!

Она взяла шляпу, шаль и, в то время как Розали надевала ей калоши, сказала сдавленным голосом:

– Помнишь, милая, какой шел дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана...

Но тут с нею случилась какая-то спазма, она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину.

Больше часу пролежала она как мертвая; потом открыла глаза и, конвульсивно дрожа, разразилась слезами.

Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться. Но Розали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли ее, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей; старая служанка поместилась рядом с Жанной, прикрыла ей ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над ее головой зонтик, воскликнула:

– Едем скорее, Дени!

Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью и, сидя боком за недостатком места, пустил лошадь вскачь, так что женщин поминутно подбрасывало.

Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперед по дороге; это был аббат Тольбьяк, который, казалось, подстерегал их отъезд.

Он остановился, чтобы пропустить тележку; одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить ее в воде дорожных рытвин; его тощие ноги в черных чулках были обуты в огромные грязные сапоги.

Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а Розали, которой все было известно, пришла в ярость. Она бормотала: «Мужик, деревенщина!» – а потом вдруг схватила сына за руку:

– Хлестни-ка его кнутом!

Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в рытвину, и из-под колеса тележки, несшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший кюре с ног до головы.

Сияющая Розали обернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком.

Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна воскликнула:

– Мы забыли Массакра!

Пришлось остановиться. Дени слез и побежал за собакой, в то время как Розали держала вожжи.

Молодой человек наконец возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил к ногам женщин.

Через два часа повозка остановилась перед кирпичным домом, выстроенным на краю большой дороги, среди фруктового сада с грушевыми деревьями, подстриженными в форме прялки.

Четыре решетчатые беседки, заросшие жимолостью и бородавником, отмечали четыре угла этого сада, разбитого на небольшие четырехугольные грядки с овощами, которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями.

Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделенную полем от соседней фермы. Шагах в ста от нее, на дороге, стояла кузница. Другое ближайшее жилье находилось на расстоянии километра.

Кругом открывался вид на равнину Ко, усеянную фермами с четырьмя двойными рядами высоких деревьев, замыкавших фруктовый сад.

Жанна тотчас же по приезде захотела отдохнуть, но Розали не позволила ей этого, боясь, что она снова погрузится в мрачные думы.

Столяр из Годервиля, позванный для размещения вещей, был уже здесь, и немедленно началась установка привезенной мебели в ожидании последнего воза, который должен был прибыть с минуты на минуту.

Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьезных обсуждений.

Наконец через час к ограде подъехала повозка; ее пришлось разгружать под дождем.

Вечером домик был в полном беспорядке, вещи сложили где попало; измученная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель.

В следующие дни ей некогда было предаваться тоске, настолько ее захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища; мысль, что ее сын вернется сюда, преследовала ее беспрестанно. Обивкой из ее прежней спальни были обтянуты стены столовой, которая служила в то же время гостиной; с особенной заботливостью обставила и убрала она одну из двух комнат второго этажа, мысленно назвав ее «Комнатой Пуле».

Вторая комната предназначалась ей, а Розали устроилась наверху, рядом с чердаком.

Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нем, несмотря на то что ей все чего-то недоставало; но понять, в чем дело, она не могла.

Однажды утром писарь нотариуса из Фекана принес Жанне три тысячи шестьсот франков – стоимость мебели, оставшейся в «Тополях» и оцененной обойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости и, как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годервиль и отослать Полю эту неожиданную сумму.

Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, хотя и не угадывала всей правды; но когда ей стало известно все – ведь Жанна ничего не могла от нее скрыть, – она поставила корзину на землю и дала волю своему гневу.

Она кричала, упершись кулаками в бока, а затем подхватила правой рукой хозяйку, левой – корзину и, не переставая негодовать, направилась к дому.

Как только они вошли, Розали потребовала у нее деньги. Жанна отдала их, удержав у себя шестьсот франков; но хитрость ее была быстро обнаружена недоверчивой служанкой; пришлось отдать все.

Розали в конце концов согласилась послать эти шестьсот франков молодому человеку.

Через несколько дней он благодарил: «Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы в крайней нужде».

Жанна между тем никак не могла привыкнуть к Батвилю; ей постоянно казалось, что здесь не так легко дышится, как в «Тополях», что здесь она еще более одинока и покинута. Она выходила прогуляться, доходила до деревни Вернейль, возвращалась через Труа-Мар и, вернувшись домой, снова поднималась, чувствуя потребность уйти, точно она забыла побывать как раз там, где было нужно, где ей хотелось погулять.

Так повторялось изо дня в день, и она не понимала причины этой странной потребности. Но однажды вечером у нее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала:

– О, как мне хотелось бы увидеть море!

То, чего ей так сильно недоставало, было море, в соседстве с которым она жила в течение двадцати пяти лет, море с его соленым запахом, с его яростью, грозным ревом и могучим дыханием, море, которое она каждое утро видела в «Тополях» из своего окна, море, которым она дышала днем и ночью, которое чувствовала около себя и привыкла любить, как человека, сама того не подозревая.

Массакр жил тоже в крайнем возбуждении. В первый же вечер он расположился на кухне у шкафа с посудой, и его нельзя было сдвинуть с этого места. Он лежал здесь целый день, почти неподвижно, лишь изредка поворачиваясь с глухим ворчанием.

Но как только наступала ночь, он вставал и тащился к калитке сада, натываясь на стены. Пробыв за оградой те несколько минут, которые были ему необходимы, он возвращался, усаживался у еще теплой плиты и, как только его хозяйки уходили спать, принимался выть.

Он вынул всю ночь напролет плачущим и жалобным голосом, делая передышку на час, чтобы начать снова и в более раздирающем тоне. Его привязали к конуре перед домом. Тогда он стал выть под окнами. Так как он был болен и мог околеть каждую минуту, его опять перевели на кухню.

Жанне не удавалось уснуть из-за непрерывных стонов и царапанья старого пса, который никак не мог освоиться с новым жилищем и прекрасно понимал, что он здесь не дома.

Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днем, как будто его угасшие глаза и сознание дряхлости мешали ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа, как только наступал вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потемках, когда все становятся слепыми.

Однажды утром его нашли мертвым. Это было большим облегчением для всех.

Приближалась зима. Жанна чувствовала, как ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадежности. То не было одно из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль.

Ничто не развлекало ее. Никто не старался ее рассеять. Большая дорога развевалась вправо и влево перед ее дверьми и была почти всегда пустынна. Изредка проезжал рысью кабриолет с краснолицым ездоком, блуза которого, раздуваемая от ветра, казалась издали чем-то вроде синего шара; иногда медленно катила повозка или показывались вдаль двое крестьян, мужчина и женщина, крохотные на горизонте, выраставшие по мере приближения к дому и снова уменьшавшиеся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса которой тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь соответственно волнообразным линиям почвы.

Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девчонка в коротенькой юбочке, погоняя двух тощих коров, которые щипали траву в придорожных рвах. Вечером она возвращалась той же сонливой походкой позади своей скотины, передвигаясь на шаг через каждые десять минут.

Жанне снилось по ночам, что она еще живет в «Тополях».

Она видела там себя, как в былые дни, с отцом и мамочкой, а иногда даже с тетей Лизон. Она переживала во сне давно минувшее и позабытое, и ей казалось, что она поддерживает г-жу Аделаиду, прогуливающуюся по своей аллее. Каждое пробуждение сопровождалось слезами.

Она постоянно думала о Поле, спрашивала себя: «Что он делает? Каков он теперь? Думает ли он иногда обо мне?» Гуляя медленным шагом по извилистым тропинкам между фермами, она перебирала в голове эти терзавшие ее мысли, но больше всего ее мучила неукротимая ревность к той незнакомой женщине, которая похитила у нее сына. Только ненависть к ней удерживала ее, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь, спрашивая: «Что вам нужно здесь, сударыня?» Ее материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи; высокомерное тщеславие безупречно чистой женщины, никогда не падавшей, ничем не запятнанной, все больше и больше ожесточало ее против низостей мужчины, порабощенного грязью плотской любви, от которой становится низменным и самое сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайнах инстинктов, об унижительных ласках, о секретах неразрывных связей.

Прошли еще весна и лето.

Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, с серым небом, темными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решила сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего Пуле.

Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела.

Она написала ему отчаянное письмо:

«Дорогое мое дитя, умоляю тебя, вернись ко мне. Подумай только, что я стара и больна, что я провожу круглый год в полном одиночестве, наедине со служанкой. Я живу теперь в маленьком домике на краю дороги. Мне так грустно! Но если бы ты был здесь, все изменилось бы для меня. Ведь ты один у меня на свете, а я не виделась с тобой семь лет! Ты не знаешь никогда, как я была несчастна и как я успокаивала свое сердце только мыслью о тебе. Ты был моей жизнью, моей мечтой, моей единственной надеждой, моей единственной любовью – и тебя нет у меня, ты меня бросил!

Вернись, мой милый Пуле, вернись поцеловать меня, вернись к своей старой матери, которая в отчаянии простирает к тебе руки.

Жанна».

Он ответил через несколько дней:

«Дорогая мама, я не желал бы ничего большего, как приехать повидаться с тобой, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам намеревался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу.

Бескорыстие и любовь той, которая была моей подругой в самое тяжелое для меня время, по-прежнему безграничны. Невозможно жить дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образованна, очень много читает. Наконец, ты не можешь себе и представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей своей благодарности. Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживем все вместе в твоём новом доме.

Если бы ты только знала ее, ты сейчас же дала бы свое согласие. Уверю тебя – она воплощенное совершенство и благородство. Ты полюбишь ее, я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее.

С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя.

Твой сын виконт Поль де Лямар».

Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына, не отпускавшей его ни разу от себя, выжидавшей своего часа, того часа, когда старая, измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребенка, когда она ослабеет и согласится на все.

И страшная скорбь терзала ей сердце при виде упорного предпочтения, которое Поль оказывает этой твари. Она повторяла:

– Он не любит меня! Он не любит меня!

Вошла Розали. Жанна сказала:

– Теперь он хочет на ней жениться.

Служанка так и подпрыгнула:

– О, сударыня, вы не должны этого ему позволить. Господин Поль не должен брать эту шлюху.

И Жанна, убитая, но все же возмущенная, ответила:

– Этому не бывать, милая. И раз он не хочет приехать, я поеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит.

И она сейчас же написала Полю, объявляя о своем намерении приехать и о желании видеться с ним, но только не там, где живет эта распутница.

В ожидании ответа она стала готовиться к отъезду.

Розали принялась укладывать в старый чемодан белье и вещи своей госпожи. Но, сложив ее платье – старое деревенское платье, – она воскликнула:

– Да у вас нечего надеть! Я не позволю вам ехать в таком виде. Вам стыдно будет показаться на людях, а парижские дамы еще примут вас за служанку.

Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годервиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местной портнихе. Затем они пошли к нотариусу, мэтру Русселю, ежегодно уезжавшему на две недели в столицу, чтобы навести у него справки. Ведь Жанна целых двадцать восемь лет не видела Парижа.

Он дал многочисленные указания о том, что нужно делать, чтобы не попасть под экипажи и не быть обокраденным, посоветовал зашить деньги в подкладку платья и оставить в кармане только самое необходимое; он много распространялся о ресторанах с общедоступными ценами и назвал два-три из них, которые часто посещаются дамами; указал гостиницу «Нормандия», возле самого вокзала, где он сам всегда останавливается. Можно явиться туда с его рекомендацией.

Железная дорога, о которой столько говорили повсюду, существовала уже шесть лет между Гавром и Парижем. Но Жанна, поглощенная своим горем, ни разу еще не видела этих паровых экипажей, преобразивших всю страну.

Между тем Поль не отвечал.

Она прождала неделю, прождала две, ежедневно выходя на дорогу навстречу почтальону и дрожащим голосом задавая ему вопрос:

– Для меня ничего нет, дядя Маланден?

И голосом, охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей:

– На этот раз ничего, сударыня.

Конечно, эта женщина запрещает Полю отвечать.

Тогда Жанна решила ехать немедленно. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопровождать ее, чтобы не увеличивать дорожные расходы.

Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше трехсот франков:

– Если вам не хватит, вы мне напишете, я тогда схожу к нотариусу и попрошу его выслать вам сколько будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Поль их прикарманит.

В одно декабрьское утро они сели в тележку Дени Лекока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду; Розали решила проводить свою госпожу до вокзала.

Сначала они справились о цене билета, а когда все было устроено и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь уразуметь, как же может по ним двигаться эта штука; они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки.

Наконец внимание их было привлечено отдаленным свистком, и они увидели какую-то черную машину, вырвавшуюся по мере приближения. Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоча за собой целую цепь домиков на колесах, и когда кондуктор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков.

Взволнованная Розали крикнула:

– До свидания, сударыня! Счастливого пути, до скорого свидания!

– До свидания, милая.

Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатила, сначала тихонько, потом быстрее и наконец с ужасающей скоростью.

В купе, где находилась Жанна, два господина спали, прикорнув по углам.

Она смотрела на проплывающие равнины, деревья, фермы, деревни, пугаясь быстроты движения, чувствуя себя захваченной новой жизнью, перенесенной в новый мир, не имеющий ничего общего с ее миром, миром ее спокойной юности и однообразного существования.

В сумерках она приехала в Париж.

Носильщик взял ее чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним; со всех сторон ее толкали, и она неумело пробиралась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду.

Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить:

– Я приехала по рекомендации господина Русселя.

Хозяйка, толстая серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила:

– Кто это господин Руссель?

Пораженная Жанна ответила:

– Да нотариус из Годервиля, который каждый год останавливается у вас.

Толстая дама возразила:

– Возможно. Но я его не знаю. Вам комнату?

– Да, сударыня.

И лакей, подхватив чемодан Жанны, пошел впереди нее по лестнице.

У нее сжалось сердце. Она села за маленький столик и попросила бульону и крылышко цыпленка. С самого утра она ничего не ела.

Она грустно пообедала при свете свечи, размышляя о тысяче вещей, вспоминая, как она проезжала через этот самый город по возвращении из свадебного путешествия, вспоминая первые признаки дурного характера Жюльена, проявившиеся во время этого пребывания в Париже. Но тогда она была молодой, доверчивой и бодрой. Теперь же она чувствовала себя старой, растерянной, боязливой, слабой и способной приходить в замешательство из-за каждого пустяка. Покончив с обедом, она стала глядеть в окно на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решилась. Она тут непременно заблудится, думалось ей. Жанна легла и потушила свечу.

Однако шум, ощущение незнакомого города и лихорадка путешествия не давали ей заснуть. Время шло. Гул снаружи мало-помалу стихал, но она все-таки не могла спать, потому что этот полупокрой большого города действовал ей на нервы. Она привыкла к тишине и глубокому сну полей, усыпляющим все – людей, животных и растения; теперь же Жанна чувствовала вокруг себя какое-то таинственное движение. Почти неуловимые голоса долетали до нее, точно проникая сквозь стены гостиницы. Иногда скрипел пол, хлопала где-то дверь, дребезжал звонок.

Около двух часов ночи, когда она только начала дремать, какая-то женщина закричала в соседней комнате; Жанна быстро присела в кровати; потом ей послышался мужской смех.

И тут, по мере того как приближался день, мысль о Поле овладела ею; она оделась, чуть только стало светать.

Он жил в Сите, на улице Соваж. Она хотела пройти туда пешком, из экономии, помня заветы Розали. День был чудесный; холодный воздух щипал кожу; пешеходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной ей улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо, затем налево, и наконец, добравшись до площади, снова спросить дорогу. Она не нашла площади и справилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала плутать, следовала разным другим советам и окончательно заблудилась.

В отчаянии она шла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, когда вдруг она увидела Сену и направилась вдоль

набережной.

Приблизительно через час она очутилась на улице Соваж, в каком-то темном закоулке. Она остановилась у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу.

Он здесь, Пуле, в этом доме!

Она чувствовала, как дрожат ее колени и руки; наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протягивая серебряную монету, спросила:

– Не можете ли вы подняться к господину Полю де Лямар и сказать, что его ждет внизу пожилая дама, подруга его матери?

Портье отвечал:

– Он не живет здесь больше, сударыня.

Сильная дрожь охватила ее. Она пролепетала:

– А где же... где он живет теперь?

– Не знаю.

Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшное усилие, она пришла в себя и прошептала:

– Когда же он уехал?

Швейцар дал ей разъяснения со всеми подробностями:

– Недели две тому назад. Раз как-то вечером они вышли в чем были и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале, а потому, сами понимаете, адреса своего не оставили.

В глазах у Жанны закружились светлые круги, огненные вспышки, точно перед нею стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие: она хотела узнать все и разыскать Поля.

– Так он ничего не сказал, уезжая?

– Ни слова; они сбежали, чтобы не платить, – только и всего.

– Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами.

– Ну вот еще! Они получали не более десяти писем в год. Впрочем, за два дня до отъезда я отнес им одно письмо.

Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила:

– Послушайте, я его мать, я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам десять франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице, я вам щедро заплачу.

Он отвечал:

– Рассчитывайте на меня, сударыня.

И она ушла.

Она снова начала бродить по улицам, не давая себе отчета, куда идет. Она шла быстро, точно торопясь по важному делу, пробираясь возле самой стены; ее толкали люди со свертками, она переходила улицы, не видя едущих экипажей, не слыша брани кучеров, спотыкалась о ступени тротуаров, не замечая их, бежала все вперед и вперед как безумная.

Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала, сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на нее. Наконец ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь; ее ноги чуть двигались, до того она была измучена и слаба.

Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульону, но она не решалась войти в эти заведения из боязни, стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми свое очевидное горе. Она остановилась на секунду у дверей одного ресторана, заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедающих, и застенчиво побежала дальше, говоря себе: «Я зайду в другой». Но и в следующий она не решалась войти.

В конце концов она купила в булочной сдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти, и старалась терпеть.

Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окруженный аркадами. Тогда она узнала Пале-Рояль.

Солнце и ходьба согрели ее, и она снова решила посидеть часок-другой.

Здесь прогуливалась, болтала, смеялась, раскланивалась нарядная толпа, та счастливая толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты и которая живет только ради туалетов и удовольствий.

Жанна, смущенная тем, что очутилась посреди этой блестящей сутолоки, встала, чтобы бежать отсюда; но вдруг у нее мелькнула мысль, что здесь она может встретить Поля, и она стала скромно и торопливо бродить взад и вперед по саду, всматриваясь в лица прохожих.

Некоторые оборачивались, чтобы проводить ее взглядом, другие смеялись, показывая на нее друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что насмешку вызывают ее манеры и платье в зеленую клетку, выбранное Розали и сшитое по ее указаниям гонимой портнихой.

Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу. Но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу.

Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь. Затем пообедала, как накануне, съев немного супу и мяса, и легла в постель, проделывая все движения машинально, по привычке.

На следующий день она отправилась в префектуру полиции попросить о розыске сына. Ей ничего не могли обещать, но сказали, что этим делом займутся.

Она снова пошла бродить по улицам, надеясь встретить Поля. Она чувствовала себя еще более одинокой в этой оживленной толпе, еще более затерянной, еще более несчастной, чем среди пустынных полей.

Когда вечером она вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал какой-то мужчина от г-на Поля и что он опять придет завтра. Вся кровь прилила ей к сердцу, она не сомкнула глаз всю ночь. Ах, если бы это был он! Да, конечно, это он, хотя она не узнавала его по тому описанию, которое ей сообщили.

Около девяти часов утра раздался стук в дверь, и она закричала: «Войдите!» – готовясь броситься с раскрытыми объятиями. Появился незнакомец. И пока он извинялся за причиненное беспокойство и излагал свое дело, а именно говорил о долге Поля, за уплатой которого он явился, она чувствовала, что плачет, и, не желая показать этого, смахивала слезы кончиком пальцев по мере того, как они набегали в уголки глаз.

Он узнал о ее приезде от швейцара на улице Соваж и, не имея возможности разыскать молодого человека, обращается к его матери. И он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла. Она увидела цифру – 90 франков, вынула деньги и заплатила.

Она не выходила весь этот день.

На следующий день явились новые кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе только двадцать франков, и написала Розали о своем положении.

В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать теплое слово, никого, кто знал бы о ее несчастье. Она ходила наугад, томясь теперь желанием скорее уехать, вернуться к себе, в свой маленький домик на краю пустынной дороги.

Всего несколько дней назад она не могла там жить, до того ее удручала тоска, а теперь она ясно почувствовала, что может жить только там, там, где прочно укоренились все ее угрюмые привычки.

Наконец однажды вечером она получила письмо с двумястами франков. Розали писала:

«Сударыня, возвращайтесь скорее, потому что больше я Вам ничего не пришлю. Что касается господина Поля, то я сама поеду его разыскивать, когда мы получим о нем вести.

Кланяюсь вам. Ваша служанка Розали».

И наутро Жанна уехала в Батвиль. Шел снег, было очень холодно.

С тех пор она не выходила больше, не двигалась. Она вставала всегда в один и тот же час, смотрела в окно на погоду, потом спускалась вниз и садилась в столовой у камина.

Целыми днями неподвижно сидела она здесь, устремив глаза на огонь, безвольно отдаваясь грустным мыслям и перебирая печальную вереницу своих страданий. Сумерки мало-помалу обволакивали комнатку, а она все еще сидела, делая движение лишь затем, чтобы подбросить в камин дров. А Розали вносила лампу, восклицая:

– Ну, сударыня, вам надо встряхнуться, а то у вас вечером не будет аппетита.

Ее преследовали навязчивые мысли, мучили мелочные заботы: всякий пустяк в ее больной голове принимал несоразмерно важное значение.

Но чаще всего она жила мыслью в прошлом, в далеком прошлом: ее не покидали образы раннего детства, а также свадебного путешествия на Корсику. Давно забытые пейзажи этого острова возникали вдруг перед нею среди головешек камина: она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала; лицо проводника Жана Раволи преследовало ее, и порою ей казалось, что она слышит его голос.

Потом она думала о радостных годах детства Поля, о той поре, когда он заставлял ее сажать салат, когда она становилась на колени на жирной земле рядом с тетей Лизон и когда обе они старались наперебой, изо всех сил, угодить ребенку, соперничая в том, кто ловчее посадит рассаду и у кого она даст больше побегов.

И чуть слышно губы ее шептали: «Пуле, мой маленький Пуле», – словно она говорила с ним, и, когда ее грезы обрывались на этом слове, она принималась порой целыми часами чертить вытянутым пальцем в воздухе буквы, из которых состоит его имя. Она чертила их медленно перед огнем, воображая, что видит их, а потом, думая, что ошиблась, начинала снова выводить букву «П» рукой, дрожащей от усталости, стараясь вычертить все имя; окончив, она опять принималась за то же самое.

В конце концов она больше не могла этого делать – путала, чертила другие слова и волновалась при этом до сумасшествия.

Все мании отшельников завладели ею. Всякая вещь, стоявшая не на месте, выводила ее из себя.

Розали часто заставляла ее ходить, выводила на дорогу, но через двадцать минут Жанна заявляла: «Я не могу больше, милая», – и усаживалась на краю канавы.

Вскоре всякое движение стало ей ненавистно, и она старалась оставаться в постели возможно дольше.

С детства у нее неизменно и устойчиво сохранялась привычка вставать с постели тотчас после того, как она выпивала кофе с молоком. Этому напитку она придавала какое-то преувеличенное значение; лишиться его для нее было бы труднее, нежели чего-либо другого. Каждое утро с немного чувственным нетерпением ожидала она прихода Розали, и как только полная чашка кофе была поставлена на ночной столик, она садилась в постели и живо, даже с некоторой жадностью, выпивала ее. Потом, откинув простыни, начинала одеваться.

Но мало-помалу она усвоила привычку предаваться мечтам несколько секунд после того, как пустая чашка была поставлена обратно на блюдечко, и снова протягивалась на кровати; с каждым днем все дольше и дольше предавалась она этой лени, до того момента, пока наконец не появлялась возмущенная Розали и не одевала ее почти насильно.

В ней вообще исчезла последняя видимость воли, и теперь, когда служанка обращалась к ней за советом, задавала ей какой-нибудь вопрос, спрашивала ее мнения, она отвечала:

– Делай как хочешь, милая.

Она в такой степени прониклась уверенностью, что злой рок упорно преследует ее, что стала фаталисткой наподобие жителей Востока; привыкнув видеть несбыточность своих грез, крушение своих надежд, она целыми днями колебалась, прежде чем решиться на самое простое дело, так как была уверена, что она на плохом пути и что это к добру не приведет.

Она постоянно повторяла:

– Мне ни в чем не было удачи в жизни.

Тогда Розали восклицала:

– А что бы вы сказали, если бы вам пришлось трудиться, чтобы заработать себе на хлеб, если бы вы должны были вставать каждый день в шесть часов утра и ходить на поденщину? А ведь много таких женщин, которые принуждены делать это, когда же они становятся старыми, то помирают в нищете.

Жанна отвечала:

– Подумай только, что ведь я совсем одна, что сын покинул меня.

Тогда Розали приходила в бешенство:

– Подумаешь, какое дело! Ну так что же! А сыновья, которых берут на военную службу? А те, которые переселяются в Америку?

Америка представлялась ей какой-то неопределенной страной, куда едут наживать богатство и откуда никогда не возвращаются.

Она продолжала:

– Всегда настает пора, когда приходится расставаться, потому что старым и молодым не жить вместе. – И она заключала свирепо: – Что же вы сказали бы, если бы он умер?

Жанна не отвечала.

К ней вернулось немного сил, когда воздух с первыми весенними днями стал более мягок, но из-за этого прилива бодрости она лишь еще больше углубилась в свои мрачные мысли.

Однажды утром она поднялась на чердак, чтобы отыскать какую-то вещь, и случайно открыла там ящик, наполненный старыми календарями; их сохраняли по обычаю некоторых деревенских жителей.

Ей показалось, что она нашла самые годы своего прошлого, и, охваченная странным и смутным волнением, она остановилась перед этой грудой квадратного картона.

Она взяла календари и унесла их вниз, в столовую. Они были всевозможных размеров – и большие и маленькие. Она стала раскладывать их на столе по годам. И внезапно наткнулась на первый календарь, который привезла когда-то в «Тополя».

Она долго рассматривала этот календарь и числа, зачеркнутые ею в утро ее отъезда из Руана по выходе из монастыря. И она заплакала. Заплакала едкими и скупыми слезами, жалкими слезами старухи, столкнувшейся лицом к лицу со своей несчастной жизнью, разложенной перед ней на столе.

Ее охватило желание, перешедшее вскоре в какую-то ужасную, неотступную, ожесточенную манию. Ей захотелось восстановить день за днем все, что она делала за это время.

Она прикрепила к стене на обивке один за другим эти пожелтевшие листы картона и часами простаивала перед ними, задавая себе вопрос: «Что было со мной в таком-то месяце?»

Она отметила черточками все памятные даты своей жизни, и иногда ей удавалось воскресить целый месяц, восстанавливая, группируя и связывая один за другим мельчайшие факты, предшествовавшие какому-нибудь важному событию или следовавшие за ним.

Благодаря сосредоточенному вниманию, напряжению памяти и усилию воли ей удалось восстановить почти целиком два первых года, проведенных в «Тополях», потому что отдаленные воспоминания ее жизни возникали перед нею с особенной легкостью и ясностью.

Но следующие годы, казалось, терялись в каком-то тумане, перепутывались, громоздились один на другой, и временами она простаивала перед календарем бесконечно долго, опустив голову, мысленно устремив взор в прошлое и не имея сил вспомнить: не в этом ли куске картона можно отыскать то или иное событие?

Она переходила от одного календаря к другому, вокруг всей комнаты, обвешанной, точно изображениями крестного пути, этими картинами канувших в вечность дней. Вдруг она порывисто садилась перед каким-нибудь из календарей и застывала так до самой ночи, устремив на него взгляд, углубясь в свои поиски.

Когда под влиянием солнечного тепла пробудились все соки, когда в полях стали прорастать всходы, деревья зазеленели и расцветшие яблони во дворе превратились в розовые шары, наполняя всю долину благоуханием, страшное волнение обуюло ее.

Она не могла усидеть на месте; она ходила взад и вперед, выходила и возвращалась по двадцать раз в день и бродила иногда вдоль ферм, томясь лихорадкой позднего сожаления.

При виде маргаритки, скромно прятанной в густой траве, при виде солнечного луча, скользившего среди листвы, при виде в колее лужицы воды, отражавшей голубое небо, она приходила в умиление, чувствовала себя растроганной, потрясенной, и в ней пробуждались давно минувшие чувства, как эхо ее девичьих волнений, когда она мечтала, гуляя в полях.

Она содрогалась от тех же потрясений, упивалась той же нежностью и волнующим опьянением теплых дней, как и в те времена, когда у нее было будущее. Все это она переживала теперь, когда будущего уже не было. Она еще наслаждалась этим в сердце своем, но и страдала от этого, словно вечная радость пробужденного мира, проникая в ее иссохшую кожу, в ее охлажденную кровь, в ее подавленную душу, могла дать ей только болезненное и слабое очарование.

Ей казалось также, что все как-то изменилось вокруг нее. Солнце грело не так сильно, как в дни ее юности, небо было не такое синее, трава не такая зеленая, цветы были бледнее, не так пахли, аромат их опьянял совсем по-иному.

Однако в иные дни ею настолько овладевало чувство радости жизни, что она опять начинала грезить, надеяться и ждать; можно ли, несмотря на ожесточенную суровость судьбы, навсегда перестать надеяться, когда кругом так прекрасно?

Целыми часами бродила и бродила она, как бы подстегиваемая душевным возбуждением. Потом вдруг останавливалась и садилась на краю дороги, предаваясь грустным размышлениям. Почему она не была так любима, как другие? Почему она не изведала хотя бы счастья спокойного существования?

Временами она еще забывала на минуту о том, что состарилась, что впереди у нее нет ничего, кроме нескольких мрачных и одиноких лет, что жизненный путь ею уже пройден, и, как прежде, как в шестнадцать лет, она принималась строить планы, милые ее сердцу, создавать

очаровательные картины будущего. Затем жестокое сознание действительности снова подавляло ее; она поднималась, словно сгорбившись под ярмом, и уже медленно возвращалась к своему жилищу, шепча:

– О безумная старуха! Безумная старуха!

Теперь Розали твердила ей поминутно:

– Да успокойтесь же, сударыня, чего вы так волнуетесь?

И Жанна грустно отвечала ей:

– Чего же ты хочешь? Я, как Массакр, доживаю последние дни.

Однажды утром служанка вошла ранее обыкновенного в ее комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала:

– Ну, пейте скорее, Дени ждет нас внизу. Поедемте в «Тополя», там у меня есть дело.

Жанне казалось, что она теряет сознание, до того ее взбудоражили эти слова; она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и слабея при мысли, что снова увидит родной дом.

Сверкающее небо расстиралось над землей; лошадка бежала резвой рысью, порою переходя в галоп. Когда въехали в коммуну Этуван, Жанне стало трудно дышать, так сильно билось ее сердце, а завидев кирпичные столбы ограды, она тихо, против воли, два-три раза простонала:

«О-о-о!» – точно при виде зрелища, от которого разрывается сердце.

Одноколку распрягли у Кульяров; пока Розали с сыном отправились улаживать свои дела, фермеры предложили Жанне пройти по замку, так как хозяев не было дома, и дали ей ключи.

Она пошла одна и, приблизившись к старому зданию со стороны моря, остановилась, чтобы лучше рассмотреть его. Снаружи ничто не изменилось. На потускневших стенах огромного сероватого здания играли в этот день солнечные блики. Все ставни были закрыты.

Небольшая сухая ветка упала ей на платье; она подняла глаза: ветка упала с платана. Жанна приблизилась к могучему дереву с гладкой и светлой корой и погладила его, точно это было живое существо. Ее нога наткнулась в траве на кусок гнилого дерева: то был последний обломок скамьи, на которой она так часто сидела со своими родными, скамья, которая была поставлена в день первого визита Жюльена.

Затем она подошла к двойной двери вестибюля и с трудом открыла ее: тяжелый заржавленный ключ не хотел поворачиваться в замке. Наконец замок уступил, пружина слегка заскрежетала, и створка двери отворилась от толчка.

Быстро, почти бегом, поднялась Жанна в свою комнату. Она не узнала ее: комнату заново оклеили светлыми обоями, – но, распахнув окно, она замерла, взволнованная до глубины души видом широкого горизонта, который она так любила, рощицей, вязами, ландой и морем, испещренным темными парусами, которые издали казались неподвижными.

Она принялась бродить по огромному пустому дому. Она рассматривала на стенах пятна, давно знакомые ее глазам. Она остановилась перед маленьким углублением в штукатурке, которое сделал барон, часто забавлявшийся, вспоминая свою молодость, тем, что фехтовал тросточкой против перегородки, когда ему случалось проходить мимо нее.

В комнате мамочки, в темном углу за дверью около кровати, она нашла булавку с золотой головкой, которую когда-то воткнула в стену (теперь она ясно вспоминала это) и которую потом искала в течение ряда лет. Никто не нашел ее. Она взяла ее как бесценную реликвию и поцеловала.

Она ходила всюду, искала и узнавала обивку комнат, которая совсем не переменилась, и снова различала почти невидимые странные фигуры, которые наше воображение часто создает из рисунков обоев, прожилок мрамора и теней на загрязненном от времени потолке.

Она ходила тихими шагами в полном одиночестве по огромному молчаливому замку, точно по кладбищу. Вся ее жизнь была погребена здесь. Она спустилась в гостиную. В ней было темно, так как ставни были закрыты, и прошло несколько минут, прежде чем она могла что-либо различить; затем, когда ее глаза привыкли к темноте, она мало-помалу стала узнавать обои с разгуливавшими по ним птицами. Два кресла по-прежнему стояли перед камином, словно их только что покинули; и самый запах этой комнаты, запах, который всегда был ей присущ как он присущ живым существам, запах неопределенный и все же так хорошо знакомый, неясный, милый аромат старых жилищ доходил до Жанны, окружал ее воспоминаниями, опьянял ее. Она задышалась, впивая этот воздух прошлого, и стояла, устремив глаза на кресла. И вдруг в мгновенной галлюцинации, порожденной ее навязчивой мыслью, ей показалось, что она видит – да, видит, как видела их так часто прежде, – своего отца и мать, греющих ноги перед камином.

В испуге она отпрянула, ударившись спиной о косяк двери, уцепилась за него, чтобы не упасть, но все еще не сводила глаз с кресел.

Видение исчезло.

Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собою и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд ее упал на косяк, о который она опиралась, и она увидела «лестницу Пуле».

Черточки поднимались по краске двери одна за другой с неравными промежутками; цифры, нацарапанные перочинным ножом, отмечали год, месяц и рост ее сына. Иногда то был почерк барона, более крупный, иногда ее собственный, помельче, иногда тети Лизон, слегка

дрожащий. И ей казалось, что ребенок, каким он был тогда, с его белокурыми кудрями, прислоняется сейчас, здесь, перед ней, своим лобиком к стене, чтобы измерили его рост.

Барон кричал:

– Жанна, ведь он за шесть недель вырос на целый сантиметр!

В бешеном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями.

Но со двора ее позвали. Это был голос Розали.

– Сударыня, сударыня, вас ждут к завтраку!

Она вышла, теряя рассудок. Ничего не понимала из того, что ей говорили. Ела то, что подавали; слушала, не отдавая себе отчета, о чем идет речь; вероятно, говорила с фермершами, которые спрашивались о ее здоровье; давала себя целовать, сама целовала щеки, которые ей подставляли, и, наконец, села в экипаж.

Когда высокая крыша замка скрылась за деревьями, Жанна ощутила невыносимую боль в груди. Она чуяла сердцем, что сейчас навсегда простилась со своим домом.

Вернулись в Батвиль. Входя в свое новое жилище, Жанна увидела что-то белое под дверью; то было письмо, которое почтальон подсунул туда в ее отсутствие. Она тотчас же угадала, что оно от Поля, и, дрожа от волнения, распечатала его. Он сообщал:

«Дорогая мама, я не писал тебе раньше, так как не хотел затруднять тебя бесполезным путешествием в Париж, да и мне самому необходимо немедленно приехать к тебе. В настоящее время меня постигло страшное горе, и я нахожусь в крайнем затруднении. Три дня тому назад жена моя родила девочку и теперь умирает, а у меня совершенно нет денег. Я не знаю, что делать с ребенком, которого привратница выкармливает на рожке как умеет, но боюсь его потерять. Не могла ли бы ты взять его к себе? Я положительно не знаю, как мне с ним быть, и не имею средств, чтобы отдать его кормилице. Отвечай немедленно.

Любящий тебя сын Поль».

Жанна рухнула на стул, едва найдя в себе силы позвать Розали. Когда служанка пришла, они вместе перечитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга.

Наконец Розали сказала:

– Я поеду за малюткой, сударыня. Так ее нельзя оставить.

Жанна отвечала:

– Поезжай, милая.

Они помолчали еще, и служанка добавила:

– Надевайте шляпку, сударыня, и едемте к нотариусу в Годервиль. Раз она умирает, нужно, чтобы господин Поль обвенчался с нею ради малютки.

Не говоря ни слова, Жанна надела шляпку. Сердце ей переполняла глубокая радость, в которой стыдно было признаться, вероломная радость, которую она хотела скрыть во что бы то ни стало, одна из тех отвратительных радостей, от которой приходится краснеть, хотя ею страстно наслаждаются в тайниках души: любовница ее сына умирала.

Нотариус дал служанке подробные указания, которые она просила повторить несколько раз; потом, уверившись, что уже не ошибется, она заявила:

– Будьте покойны, я все беру теперь на себя.

В ту же ночь она уехала в Париж.

Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла решительно ни о чем думать. На третье утро она получила от Розали записку, извещавшую о ее возвращении с вечерним поездом. И больше ничего.

В три часа она попросила соседа запрячь одноколку и отправилась на вокзал в Безвиль, чтобы встретить там служанку.

Она стояла на платформе, устремив глаза на прямую линию рельсов, которые убегали, сливаясь друг с другом на горизонте. Время от времени она смотрела на часы. Еще десять минут. Еще пять минут. Еще две минуты. Сейчас. Но ничего не показывалось вдали. Затем она вдруг увидела белое пятнышко, дымок, а под ним черную точку, которая все росла, росла и приближалась полным ходом. Наконец огромная машина, замедляя бег, проехала, шумно дыша, перед Жанной, которая жадно заглядывала в окна. Несколько дверец распахнулось; оттуда выходили люди: крестьяне в блузах, фермерши с корзинками, мелкие буржуа в мягких шляпах. Наконец она увидела Розали, несущую в руках что-то вроде свертка с бельем.

Ей хотелось пойти к ней навстречу, но она боялась упасть, до того ослабели ее ноги. Увидев ее, служанка подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала:

– Здравствуйте, сударыня; вот я и вернулась, хоть это было не так-то легко!

Жанна пробормотала:

– Ну?

Розали ответила:

– Ну, она умерла сегодня ночью. Они повенчались, вот ребенок.

И она протянула младенца, лица которого не было видно.

Жанна машинально взяла его на руки, они вышли из вокзала и сели в экипаж.

Розали продолжала:

– Господин Поль приедет тотчас после похорон. Надо думать, завтра с этим же поездом.

Жанна прошептала: «Поль...» – и больше ничего не прибавила.

Солнце спускалось к горизонту, заливая светом зеленеющие долины, испещренные кое-где золотом цветущего рапса и кровавыми пятнами мака. Беспредельным покоем веяло над умиротворенной землей, где зарождалась жизнь.

Одноколка катилась быстро; крестьянин пощелкивал языком, чтобы придать лошади прыти.

Жанна глядела прямо перед собой, в небо, по которому время от времени, подобно ракетам, проносились ласточки в своем круговом полете. И вдруг мягкая теплота, теплота жизни, проникла сквозь ее платье, дошла до ее ног, пронизала ее тело: то была теплота маленького существа, которое спало у нее на коленях.

Тогда безграничное волнение овладело ею. Она быстро раскрыла личико ребенка, которого еще не видела, – дочери своего сына. И когда крохотное создание, разбуженное ярким светом, открыло голубые глаза и пошевелило губами, Жанна, подняв его на руках, стала безумно целовать.

Но Розали, хотя и довольная, остановила ее, заворчав:

– Ну, хорошо, хорошо, перестаньте, сударыня, а не то она разревется! – И она прибавила, отвечая, вероятно, на свои собственные мысли: – Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как о ней думают.

Примечания

1 «Господь с вами» (лат.).

2 Poulet – цыпленок (фр.).

3 Как лев рыкающий блуждает он, ища, кого бы пожрать (лат.).